Голубые 'разговоры' - Рассказы аэронавигатора

Михаил Александрович Заборский

SHOUT
SHARE
IT

- Заборский Михаил Александрович

Заборский Михаил Александрович Голубые 'разговоры' - Рассказы аэронавигатора

Заборский Михаил Александрович

Голубые "разговоры": Рассказы аэронавигатора

Аннотация издательства: Автор этой книги был свидетелем рождения и первых шагов советской авиации, знаком со многими людьми, причастными к ее развитию. Заборский переносит читателя в атмосферу героических и трудных 20-х годов, ярко и интересно рассказывает о жизни Москвы. Предисловие к книге написано Героем Советского Союза М. И. Шевелевым, многие годы возглавлявшим Управление полярной авиации.

Содержание

Предисловие
Собака Баскервилей
Ящичек
Уничтожение девиации
Композитор Сеня Резник
"Новэлла"
Парашюты Котельникова
Рыженький
Сильные ощущения
Рассказ о мужестве
Шрам над левой бровью
Жертва аэродинамики
ЧП на мандатной комиссии
Замок павловской работы
За бокалом ацидофилина

Предисловие

Автор выбрал чрезвычайно интересную и, вне сомнения, нужную тему жизнь и быт авиации двадцатых годов.

Написано об этом времени у нас немного. А если и написано, то больше так, "скороговоркой". И литераторов и журналистов тема, по-видимому, не так уж прельщала. Скорее всего, так произошло потому, что в эти годы в нашей авиации сенсационных событий произошло значительно меньше, чем, скажем, в последующее десятилетие.

Между тем двадцатые годы - чрезвычайно важный этап в становлении воздушного флота нашей страны. Нельзя забывать, что именно в это время был заложен фундамент для бурного

развития нашей авиации тридцатых годов.

Целая плеяда крылатых героев, чьи имена впоследствии стали известны всему миру, сформировалась именно в двадцатые годы.

В двадцатые годы совсем молодыми пришли в авиацию наши знаменитые генеральные конструкторы.

В те же годы было положено начало созданию предприятий, часть которых и сегодня является опорной в нашей авиационной промышленности.

Таким образом, двадцатые годы - это своеобразный "промежуточный" героический период, когда, "долетывая" на остатках отбитой у врагов трофейной техники, мы одновременно начинали осваивать отечественные молодые крылья.

Этому времени и посвящены рассказы Михаила Заборского, очевидца и участника событий, в большинстве своем происходивших на Центральном аэродроме в Москве.

Я полагаю, совсем немного осталось среди нас ветеранов этого периода и еще меньше таких, кто сумел бы о нем интересно рассказать.

Факты, описанные в книге, уже давно отошли в область истории, а поэтому представляют немалый интерес, особенно для молодого читателя. Колорит эпохи, приметы времени, быт и специфика авиационной среды переданы автором впечатляюще и объективно.

"Каждому времени нужен свой летописец не только в области исторических событий, но и летописец быта. Летопись быта, с особой резкостью и зримостью, приближает к нам прошлое", - - писал К. Г. Паустовский. Мне представляется, что именно по этой причине "Рассказы аэронавигатора" будут вдвойне интересны для самого широкого читателя.

И вместе с тем эти рассказы о прошлом, достаточно уже далеком, следует признать вполне современными. Происходит это, видимо, потому, что в характерах и поступках ветеранов нашей авиации многое перекликается с патриотическими чертами, присущими нынешней авиационной молодежи.

Книжка Михаила Заборского - не мемуары в чистом виде. Автор часто художественно домысливает отдельные образы и положения, проделывая это с чувством меры и не снижая для читателя достоверности изложения.

Он мало пишет о широко известных в авиации асах и гораздо чаще находит своих героев среди простых, но всегда увлеченных ею людей. И это придает особую теплоту повествованию.

Михаилу Заборскому свойствен благожелательный, ненавязчивый юмор, отличающий многие его произведения.

Частенько он подтрунивает над своими героями, как, впрочем, и над самим собой. И этот юмор к месту, он органичен для большинства персонажей, действующих в книжке: отважных, веселых людей, не знающих ничего дороже и ближе своей опасной профессии.

Почти всегда за характеристиками описываемых лиц скрываются авторские симпатии.

Я расцениваю "Голубые "разговоры" как труд, посвященный нашему славному шестидесятилетию. Мы ведь не понимаем эту дату узко арифметически. Пусть мощное эхо знаменательного юбилея еще долго и четко отдается в самых разнообразных проявлениях нашего социалистического бытия, и в том числе в художественной литературе.

М. И. ШЕВЕЛЕВ, Герой Советского Союза

Собака Баскервилей

Розовой мечтой моей юности было желание попасть в авиационную школу.

Но с этим делом получалось трудновато. Очень уж желторотых туда не брали, а знакомства в летных кругах у меня не было - с авиационной техникой я практически не соприкасался. Разобраться - я не годился даже в мотористы.

Поэтому мечты до поры оставались платоническими.

А летать хотелось отчаянно!..

По окончании трудовой школы второй ступени, так вскоре после Октября стали именовать средние учебные заведения, я вступил добровольцем в Красную Армию. Меня зачислили в команду связи при штабе обороны железных дорог республики.

Хотя я и числился самокатчиком, выручало в первую очередь пешее хождение, реже - переполненные народом трамваи и совсем уж в исключительных случаях - люлька потрепанного мотоцикла, предназначенного для поездок начальства.

Штабная переписка запечатывалась в грубые, неуклюже склеенные конверты, часто даже из газетной бумаги. Большинство пакетов были секретными. Я складывал их в холщовый мешок, надевая его через плечо, наподобие торбы, с какими ходили по московским дворам, собирая "кусочки", многочисленные нищие. Эхо жестокого голода в Поволжье отдавалось и у нас в Москве.

Еще у меня была истертая кобура из-под нагана. Я заложил в нее сапожный молоток, подвязал кожаную плетеную сворку, угрожающе свисавшую чуть не до самого колена, и наглухо заклепал застежку, чтобы ничья любопытствующая рука не сумела более подробно поинтересоваться конструкцией моего "револьвера".

Наконец в середине лета я получил поношенное красноармейское обмундирование и новенький велосипед, или, как тогда называли, самокат.

Самокат был приятен на вид, светло-зеленого цвета и поначалу блестел от лака. Такие велосипеды среди прочей продукции (на этом предприятии даже аэропланы собирали) выпускал завод "Дукс", и они были предметом вожделенных мечтаний московских мальчишек.

Самокат я получил по наряду, прямо с заводского склада.

К сожалению, машина не имела свободного хода, и велосипедисту требовалось безостановочно работать ногами, чтобы обеспечить передвижение.

Но это было бы еще полбеды. Главное заключалось в том, что я ни разу в жизни не ездил на велосипеде и только провожал жадными глазами немногочисленных счастливчиков - обладателей этого великолепного вида транспорта.

Получив машину, я с великой осторожностью вывел ее на край тротуара, прислонил к монументальной каменной тумбе, довольно бойко взобрался на седло и со всей энергией заработал ногами. Словом, я сразу же поехал, и поехал быстро. Коварство заключалось в том, что, как только замедлялся ход, начинало казаться, что я немедленно упаду. Я мчался и мчался по выщербленной мостовой, постепенно сознавая, что вроде бы пора и остановиться. Но сбавлять скорость не решался.

Наконец, нацелив на маячившую по ходу моего устремления толстую, раскидистую липу, я, проносясь мимо, обхватил ее ствол обеими руками. Самокат скользнул между моих ног и тут же свалился, сделав в агонии еще несколько оборотов колесами. Некоторое время я стоял, не в силах развести руки, прижавшись к дереву, и дышал, как загнанная лошадь. В моих глазах метались белые мухи.

Таков был мой первый опыт выезда на велосипеде.

Некоторое время я еще следовал описанной методике торможения. Дважды сшибал попадавшихся на пути разинь, а раз даже сам чуть не угодил под колеса ломового извозчика, успев в решающий момент удержаться за оглоблю лошадиной упряжки.

Последнюю свою жертву я подбил около Вдовьего дома, нынешнего Института усовершенствования врачей, стремительно спускаясь под уклон к Московскому зоопарку. Никаких правил уличного движения в ту пору не существовало, чего, наверно, не могут себе представить москвичи последних поколений. На этот раз я подшиб, если так можно выразиться, родственную душу, почти сверстника, продвигавшегося навстречу на старом сборном велосипеде. Машины наши сцепились колесами и слились в

родственном объятии, а мы, вышибленные из седел, разделили участь всадников рыцарского турнира.

- Ты что, малохольный? - плачущим голосом спросил мой противник, медленно поднимаясь с булыжной мостовой и держась рукой за ушибленный бок. За ручку держаться толком не можешь, а туда же - кроешь, как наскипидаренный! Да еще от шпалера оболочку приспособил! Думаешь, я не вижу? Вот чет-нечет! Ты только глянь, какую мне восьмерку загнул!

Парень, как и я, был одет в потасканную летнюю армейскую форму, был коренаст, безбров, голубоглаз и смешлив. С пшеничного хохолка далеко на лоб сдвинута буденовка с нашитой голубой звездой. И петлицы на гимнастерке были у него голубые. И на каждой красовалось по магической золотой "птичке". И выразился он как-то странно - "за ручку". Все это сразу насторожило меня.

В молодости не получается долго держать досаду на человека. Через какие-нибудь полчаса мы, совместно устранив последствия столкновения, сидели на обочине тротуара, дымили едучей моршанской махоркой и, как старые приятели, обсуждали актуальные жизненные перспективы. Сережка, как оказывается, служил в гараже одной авиационной школы и так же, как и я, лелеял мечту поступить туда учиться.

- Она хотя и не на все сто летная, - толковал он, - но вроде того. И на аэродром ребят гоняют. Уже кое-кто даже летал... Слушай, айда к нам! Сейчас аккурат набор объявили. Ты подумакивай, чет-нечет, - может, и пофартит!

По его совету я вскоре подал рапорт по команде с просьбой допустить меня сдавать экзамены в Аэрофотограммшколу Красного воздушного флота - так длинно называлось это военно-учебное заведение. А еще через пару дней уже сидел в большом пустом зале барского особняка, ожидая вызова в приемную комиссию. Школа недавно переехала в новое помещение и еще толком не разместилась.

В кабинете комиссии за ободранным канцелярским столом восседало трое: начальник школы, известный аэрофотосъемщик Златогоров - полнеющий красивый брюнет, до синевы выбритый, в отутюженном штатском костюме и похожей на морскую фуражке, расшитой по околышу золотыми крылышками, военком Кринчик располагающего вида светлоглазый блондин, в мешковатой гимнастерке и нескладно накрученных зеленых обмотках, и похожий на древнего святителя, с изможденным лицом, окольцованным редкой бородкой, начальник учебной части летчик-наблюдатель Федоров.

Шло собеседование, или, как многозначительно пояснил

Федоров, коллоквиум.

- Расскажите биографию!

- Какая у меня биография? Ну, кончил семь классов. В РОСТА (теперь это называется ТАСС) поначалу работал. Сообщения всякие расклеивал. Афиши. Плакаты. Листовки.

Для подтверждения я даже захватил одну из оставшихся у меня дома листовок и теперь развернул на столе перед комиссией. Заголовок ее напоминал о недавнем прошлом: "Крупная победа над белогвардейской сволочью".

Кринчик уважительно поглядел на листовку, потом на меня.

- ... Дальше вот самокатчиком поступил. А теперь к вам хочу. В авиашколу... Все!

- Ну что же, - резюмировал Златогоров. - Так вроде ничего, подходяще. Анкетные данные потом политчасть проверит. Только очень уж молод, практики мало. А главное, насчет знаний. Такая досада, Виткевич опять подвел! Один грех с этой профессурой. И проэкзаменовать человека толком некому.

- Пусть сходит к нему сам, - предложил Федоров. - Там еще один парень подбирается. Вдвоем и пойдут.

- Вот что, - начал объяснять мне Кринчик. - Мы без проверки знаний окончательно вопроса не решаем. Ну хотите, называйте это экзаменом. Школа у нас особая, специальная, требует полноценного среднего образования. Иначе будет трудненько... А может, вы и лодырь какой? - он конфузливо улыбнулся. Словом, Виткевич все выяснит. Глаз у него на вашего брата наметанный. Только учтите - большой оригинал! Можно сказать, человек настроения. И крутой. Но и вы, судя по виду, не кисейная барышня. Квиток возьмете в канцелярии у секретаря. Если экзаменатор найдет вас пригодным, пусть подпишет. Тогда считайте - ваше дело в шляпе. А находится это недалеко. В аэрологической обсерватории, на Пресне. Найдете?

Еще бы мне не знать Пресни, где я родился, прожил всю свою жизнь и изучил каждый закоулок, от руин фабрики Шмидта, где мы пацанами играли в казаки-разбойники, до гончаровского особняка на ныне исчезнувшей Средней Пресне, не носившей еще тогда имени Заморенова. Все сызмальства было мне здесь знакомо: перестуки ткацких станков в почерневших корпусах "Трехгорки", визг пилы в деревообделочной мастерской на Горбатом мосту, чадные дымы лакокрасочного мамонтовского завода, тоскливый ночной рев животных, томившихся в скученном тесном зоопарке, рабочие гулянья по воскресеньям в сквере Пресненской заставы, где степенно, взявшись за руки, выступали рабочие династии, под переборы тальянки и хватающий за сердце напев "Златых гор"... Всегда шумная,

хлопотливая, кипучая, незабываемая Пресня!

Но вот место, куда меня сейчас направляли, я знал мало. Оно было как-то обособлено - тихий уголок ученых среди бурной рабочей стихии. Там скромно трудились люди, заложившие основы современных передовых наук. В пресненских обсерваториях работали аэрологи и метеорологи, климатологи и океанографы, астрономы и геоморфологи и другие ученые-специалисты. Впоследствии со многими из них мне пришлось иметь дело.

Спутником моим оказался некий Татищев. Он учился в той же гимназии, где и я, но был значительно старше. Он страдал тиком, часто дергал шеей и говорил очень высоким, сорванным голосом.

По дороге он откровенно сознался, что ровнехонько ничего не помнит из пройденного в гимназии, где ухитрялся по нескольку лет сидеть в одном классе, что в голове у него сейчас перемешалось "повидло с секундными стрелками", но он очень надеется на свою фамилию, полагая, что она должна будет произвести впечатление на профессора.

- Это же не охламон какой-нибудь!.. Профессор. Представитель интеллигенции. Уж наверняка про Татищевых что-нибудь да слышал. Думаю, должен пойти навстречу... А в этой школе, говорят, паек неплохой. Да и живу я здесь рядом, через два дома.

Аэрологическая обсерватория помещалась на возвышенном холме, полого спускавшемся в направлении Москвы-реки, и была окружена густым, запущенным садом. Я с опаской потянул массивную железную дверь, и мы оказались в длинной аллее, в глубине которой виднелось главное здание и несколько домиков, где, очевидно, жили сотрудники.

Мы уже прошли примерно половину аллеи, как из кустов показалась большая, с доброго теленка, собака, видимо, помесь дога с меделяном. "Обмажь ее квадратную морду фосфором да выпусти ночью в этот сад, получится почище собаки Баскервилей", - мелькнуло у меня в голове. Собака неторопливо приблизилась к нам и, как поначалу показалось, довольно дружелюбно обнюхала мои ноги, а затем, вовсе уж непоследовательно, тяпнула за коленку. Было здорово больно, я охнул, но сдержался и не дернул ногой, отдавая себе отчет, что в противном случае может оказаться хуже. Действительно, совершив свое черное дело, пес тут же разжал челюсти, повернулся и такой же деловитой семенящей походкой затрусил в направлении обсерватории.

Я обернулся. Спутника моего нигде не было видно. Должно

быть, он успел дать стрекача на улицу.

Теперь в аллее появился взлохмаченный, несколько диковатый на вид мужчина, поначалу показавшийся мне плохо выспавшимся. Это был средних лет добротно сложенный человек в серой толстовке, высоко поддернутых брюках и парусиновых туфлях с зелеными носками.

Я сразу понял: это и есть Виткевич. И он, должно быть, моментально постиг цель моего визита и без дальнейших околичностей ухватил быка за рога.

- Где учились? - без предисловий, отрывисто начал он. - Ах, флеровец! Очень приятно!.. Весьма наслышан про вашу хулиганствующую гимназию... Так что же, теперь в космос потянуло? Кстати, кто у вас космографию преподавал? Да, да, Сперанский! А астрономию кто? Блажко? - Он сделал кислое лицо. - Ну вот и отлично! В таком разе извольте ответствовать, на какую принадлежность хозяйственного обихода смахивает созвездие Большой Медведицы? Надеюсь, слышали про такую?.. Ах, на дуршлаг! Ну, знаете, им много водицы не зачерпнешь. Может быть, скорее на ковш? - Он смерил меня взглядом и продолжал: - Латынь вы тоже, конечно, изучали? Ну вот и превосходно! Как же именуются на священном языке Овидия Назона проплывающие над нами облака? Извольте поднять взор на небесную твердь.

- Нимулюс - кумбус, - совершенно оробев, пролепетал я.

- То есть вы, очевидно, имеете в виду кумулюс нимбус? Ну что же! "Узнаю коней ретивых я по выжженным таврам", - почему-то процитировал он древнего классика. - А с чем едят теодолит, вы никогда не интересовались?

На счастье, совсем мальчишкой, я таскал треногу от теодолита, помогая знакомому землемеру, и поэтому кое-как объяснил профессору практическое назначение этого прибора.

Затем на клочке бумаги, неожиданно извлеченном им из кармана блузы, Виткевич заставил меня доказать, что квадрат гипотенузы действительно равняется сумме квадратов двух катетов.

Ну уж с пифагоровыми-то штанами я управился!

- Ладно! - и тут хитрющая улыбка прочертила его сумрачную физиономию. Как говорится, виновны, но заслуживаете снисхождения! Тем паче, принимая во внимание полученную вами травму, к которой аэрологическая наука имеет некоторое касательство. Он не то иронически, не то рассеянно посмотрел на мою коленку. У меня не осталось сомнений, что профессору хорошо знакомы повадки "собаки Баскервилей".

- Давайте препроводилку!

- Товарищ профессор, и я в таком же положении, - раздался высокий голос моего спутника, неожиданно вынырнувшего из густого кустарника. - Моя фамилия Татищев!

- Вы что же, косяками передвигаетесь? - без тени удивления спросил Виткевич. - А фамилия у вас действительно громкая. Только не по нынешним временам ее акцентировать. Ах, граф, вы безумно смелый юноша! Ведь вас при всех условиях должны из военной школы немедленно вычистить. Гарантирую, хотя это и не относится к моей компетенции.

Мы повернули обратно. Благодарение судьбе, эта страховидная собачища больше не удостоила нас своим вниманием. И хотя на бумажной диагонали моих застиранных брюк около коленки постепенно расползалось влажное бурое пятно, я не чувствовал под собой ног от радости. Я даже не прихрамывал. Словно одержимый энтомолог, только что уловивший долгожданный экземпляр редчайшего насекомого, я нежно, но цепко держал в руке школьный квиток, подписанный профессором Виткевичем.

Ящичек

Высшая аэрофотограмметрическая школа Красного воздушного флота, а по-нашему, курсантскому, просто - Фотограммка, в начале двадцатых годов размещалась на Большой Никитской, теперешней улице Герцена. Она занимала два барских особняка, расположенных друг против друга. В одном была школьная канцелярия, в другом - учебные классы. По улице с лязгом и скрежетом ходил трамвай маршрута № 22, по булыжной мостовой дребезжали пролетки редких извозчиков. Еще реже, окутываясь зловонным дымком и рыча клаксонами, проносились черные обшарпанные автомобили.

Теперь в одном из этих домов помещается посольство Бразилии, в другом Республики Кипр.

Школа выпускала аэрофотограмметристов, аэронавигаторов и аэрофотолаборантов - существовали такие авиационные специальности. Навигаторов часто именовали также и "ветродуями", поскольку на обязанностях наших лежал также запуск шаров-пилотов и наблюдение за ними в теодолит.

На первых порах Фотограммка была заведением еще не отшлифованного учебного профиля. Хотя неясного тогда было вообще много. Военно-воздушный флот начал совсем недавно становиться на крыло, и школа комплектовалась народом пестрым. Шли сюда и романтики, и любители сильных ощущений, и люди, убежденные в прогрессе авиации, и просто оголодавшие за годы экономической разрухи молодые ребята, привлеченные военным пайком.

Курсанты, или, точнее, слушатели, получали два фунта белого, как кипень, хлеба из кукурузной муки, который надо было срочно съедать, пока он окончательно не закаменел, и подходящий приварок от котла. Кроме того, давали и обмундирование.

В школе не существовало казарменного положения, и поэтому строевой муштрой нас особенно не отягощали. Большая часть иногородних ребят жила в общежитии около церкви Большого Вознесения, где, как известно, венчался Пушкин. Москвичи - на своих квартирах.

По вечерам в зале, где мы обычно строились на поверку, народ грудился около расхристанного рояля, и веселый, черноглазый, разбитной курсант Борька Лялин с блеском исполнял чувствительные романсы одесской дивы Изы Кремер, проникнутые наигранным пессимизмом песенки Вертинского.

Впрочем, мы и свои частушки складывали:

До чего ж оно дошло,

Летное поветрие.

Объявилось ремесло:

Фото, грамм и метрия!

В школе велись теоретические и лабораторные занятия.

По аэронавигационному кабинету в окружении компасов и секстантов неторопливо вышагивал всегда ровный и спокойный Саша Беляков. Он тоже недавно окончил Фотограммку и был оставлен при школе нашим инструктором.

Летная часть школы располагалась на Ходынке. Она состояла из одного пилота, одного механика и одного самолета.

Фамилия пилота была Дедущенко. Мы называли его Дедом, хотя навряд ли ему было больше тридцати. Впрочем, это осталось традицией, даже теперь редкого командира авиасоединения не именуют Батей, вне зависимости от его возраста.

Дедущенко, коренастый невозмутимый украинец с лохматой головой и чуть заметной усмешкой в при-, щуренных золотистых глазах, ходил развалистой морской походочкой и носил короткие и широкие в голенищах яловые сапоги. Ни обмоток, ни начинавших входить в моду краг он поначалу не признавал. Дед был из боевых летчиков гражданской войны и, по слухам, совершал на фронте чудеса храбрости. Он никогда не повышал голоса и имел привычку часто мешать русскую речь с родной украинской "мовой".

Механиком при нем состоял дядя Вася, пожилой, тучный, но при этом очень подвижный дядечка, никогда не снимавший своей протертой до белесости кожаной куртки. Деда дядя Вася лелеял, как родного сына, за самолетом ухаживал, как за красной

девицей. Ходил дядя Вася мелкими, быстрыми, слегка шаркающими шагами и разговаривал крикливо, высоким бабьим голоском.

Самолет носил марку "Б-Е-2-Е", школе он достался из трофейного имущества, десятки раз ремонтировался и, что уж вовсе удивительно, не заработал от нас никакого прозвища. А ведь в то время были и английские "эриэйты", на которых часто возникали пожары, почему мы называли их "зажигалками", и легкие с ротативным мотором и выпяченной вперед капотажной лыжей французские "аврошки". Машины попадались на аэродроме самые разные от могучих, хотя и несколько громоздких конструкций Сикорского до коротких юрких "Ньюпоров". Впрочем, и "Ильи Муромцы" и "Русские витязи" базировались на другом аэродроме и бывали на Ходынке случайными гостями.

Наш "Б-Е" представлял собой двухместный биплан с шестидесятисильным мотором "Раф", во многих местах подлатанный, подклеенный и подштопанный и даже кое-где подтянутый крученым шпагатом и стальной проволокой. Неискушенный человек, возможно, не согласился бы залезть в это сомнительное сооружение даже на земле. Но большинство из нас были фаталистами. Кроме всего, нам внушала уважение постоянная невозмутимость Деда.

Для успешного окончания первого курса каждому было положено дважды побывать в воздухе, представив в учебную часть барограмму полета и простейшие данные воздушного хронометража. На полет отводилось не больше пятнадцати минут. Производились полеты по списку, вывешенному в столовой. Очередь продвигалась со скрипом, так как больше трех-четырех вылетов в день Дед не делал, поскольку дядя Вася накладывал на дальнейшие свое категорическое вето.

На аэродром каждый направлялся в индивидуальном порядке. Чтобы туда попасть, надо было встать пораньше и пехом добираться до Белорусского вокзала, называвшегося тогда еще Брестским. К этому времени от вокзала начинали ходить первые трамваи, и можно было угадать на шестерку, довозившую до Петровского парка. А там совсем рядом и до входа на аэродром через дощатую калиточку в заборе, напротив краснокаменных башен Петровского дворца.

После воздушного крещения слушатель возвращался в школу, где оставшийся конец дня безбожно выхвалялся перед теми, кто еще стоял на очереди. Но слава, как известно, явление преходящее, и на другие сутки его уже оттеснял в сторонку новый герой дня.

В тот день случился большой трамвайный затор, и меня

после отчаянного голосования, сжалившись, подкинул какой-то добросердечный мотоциклист, торопившийся на своем "Харлее" в Серебряный бор.

Все же я опоздал на верные четверть часа и по этой причине несколько нервничал. Я знал, что Дед уважает точность.

"Б-Е" уже вырулил на старт, и Дед с дядей Васей хлопотали вокруг машины. Все время они что-то подтягивали, подкручивали, подвязывали.

- Дисциплины не бачу! - укоризненно приветствовал меня Дед, поглядев на толстые, луковицей часы, которые извлек из нагрудного кармана куцего коричневого пиджачка. - Аллигатор!

Он почему-то любил именовать нас как представителей экзотической фауны, преимущественно земноводной.

- Ну, сидай! Да гляди - береги имущество!

И подмигнул упершему руки в бока и выпятившему живот дяде Васе.

Я сменил пилотку на кожаный шлем, протер очки, пристегнул чуть повыше коленки указатель высоты - альтиметр, быстро перевалился в кабину и огляделся. Передо мной на стальных растяжках висел контрольный барограф. На его барабане была заправлена свежая лента. В полете оставалось только включить перо самописца. В углу кабины валялось два наспех придавленных ногой недокуренных бычка. Еще сбоку был прикреплен небольшой фанерный ящичек, вроде тех, какие прибивали на дверях, для почтовой корреспонденции. Только без верхней крышки. Я всунул туда картонный планшетик с заранее разлинованным листиком бумаги и очинённый карандаш.

На моей обязанности лежало записывать контрольную высоту по альтиметру и скорость машины по прибору, который мы называли односложно - "саф".

Так вот, насчет скорости. Наш "Б-Е" больше шестидесяти в час никак не тянул. Возможно, это было в порядке вещей - по километру от каждой "лошадиной силы". А при посадке, что греха таить, ему мог дать фору любой рысак из расположенного поблизости Московского ипподрома.

- Контакт! - крутанув винт, голосом щукинской молочницы, визганул дядя Вася.

- Есть контакт! - солидно отозвался Дед.

- Контакт!

- Есть контакт!

Так они перекликались, наверно, с полчаса, и я уже начинал чувствовать себя, как больной, ожидающий почему-то задерживающуюся полостную операцию.

Затем мотор дважды чихнул и как ни в чем не бывало

заработал на малых. Чувствительно потянуло горелой касторкой. Дядя Вася с неожиданным проворством отскочил в сторону и, вильнув толстым задом, ловко выбил колодочки из-под колес машины.

"Б-Е" стронулся с места и затрусил по выгоревшей июльской травке. Затем мотор зарычал во всю силу своей скромной мощности, самолет рванулся, побежал быстрее, и наконец мы оторвались от земли.

Мы поднялись почти параллельно шоссейной дороге. Передо мной промелькнула знакомая пестрая корова, которую всегда пасла в конце аэродрома тоже знакомая загорелая девушка, партия двигавшихся цугом ломовых извозчиков, купол Убежища инвалидов, разбросанные домики села Всехсвятского.

Описывать первый полет довольно трафаретно. Особенно теперь, когда в стране летает каждый пятый. Но конечно, эмоции полета на открытой машине ни в какое сравнение не могут идти с ощущениями современного пассажира, упрятанного в задраенную кабину. Не чувствует этот человек скорости, а значит, и радости полета. Помню очень ясно, что при взлете я издал торжествующий крик, словно бесстрашный индейский вождь Оцеола в замечательном описании моего незабвенного Майна Рида.

Дед меж тем не спеша набирал высоту, но я уже знал заранее, что выше тысячи он не полезет. Потолок нашей воздушной "антилопы" не превышал полутора километров. Я смотрел вниз, узнавая знакомые объекты, представлявшиеся в каком-то уютном, уменьшенном виде, напоминавшем игрушечный макет.

И все обошлось бы замечательно, не начнись эта окаянная болтанка!

Дело в том, что ночью прошел грозовой дождь и, несмотря на утренний час, уже начинало ощутительно парить. С запада упорно лезла большая синебрюхая туча. Правда, она находилась еще далеко, но атмосфера в зоне нашего полета была неустойчива. Это создавало воздушные ямы, в которые то и дело проваливался самолет. Поначалу я только глотал каждый раз воздух, словно золотой карась, запретно выуженный мною из любимого верхнего пруда Московского зоопарка. Но вот мы пошли над Москвой-рекой, и болтанка возросла. Сиденье то и дело уходило из-под меня. Уже приходилось как-то приспосабливаться, чтобы вовремя записать нужный отсчет, хватаясь за борт кабины. Я начинал несколько киснуть.

А потом вдруг рвануло так - мама моя родная!..

В тот момент я был уверен, что вылечу из кабины, как пробка из квасной бутылки, и свободно болтавшиеся привязные ремни

мне не помогут. Надо же было до меня подниматься какому-то толстяку! Я даже и фамилию его вспомнил слушатель Борисов. Правая рука, которой я придерживал еще и планшетку, сорвалась с борта, и я крепко уцепился за последнюю опору - фанерный ящичек, прикрепленный к стенке. Хотя он и ослабил силу толчка, но тут же оторвался, как говорят, с мясом. Со всеми своими шестью шурупчиками.

"Береги имущество!" - вспомнилось предостережение Деда.

Чувства страха как не бывало! Его заменил жгучий стыд. Я сразу позабыл думать о какой-то болтанке и боялся теперь единственного - не заметил бы Дед! Благодарение судьбе, он, кажется, ничего не подозревал. Я начал приспосабливать ящичек на прежнее место и вскоре достиг успеха. Шурупчики вошли обратно тютелька в тютельку, и внешне ничего не стало заметно.

Настроение у меня опять поднялось.

Мы совершили посадку без всяких осложнений, уложившись в отпущенное время. Как все-таки быстро могут истечь пятнадцать минут! Совсем не то, что на нудном уроке по изучению пехотного устава. Два-три небольших "козлика" по зеленому коврику аэродрома, и машина подрулила к стоящему неподалеку с самым индифферентным видом дяде Васе.

Я вынул барограмму из прибора, аккуратно сложил и спрятал в карман записи и вылез из машины. Чуть кружилась голова. Но какое же замечательное настроение! А впереди еще целый блаженный день, в котором мне предстояло быть в школе средоточием внимания. И еще целый вечер дружеского, веселого трепа!

Уж я-то ребятам теперь разрисую!

Я долго и благодарно тискал руки Деду и дяде Васе и угощал их толстыми ростовскими папиросами из давно припасенной для такого случая пачки.

- Добрый тютюн! - разминая крутые плечи и с наслаждением затягиваясь, протянул Дед. - Знать, богацько тебе, хлопчик, стипендии отваливают?

Покурив, он залез внутрь моей кабинки, бесцеремонно вытащил ящичек из отверстий, где крепились шурупы, и одобрительно заметил:

- Ох и крепок же проклятый ящик! Качественная продукция! Скильки кайманов за его не хватается, а он все целехонек!

Дед сунул шурупчики обратно в гнезда и для верности постучал по стенкам ящика массивным рабочим кулаком.

Уничтожение девиации

Дважды в неделю нас, будущих воздушных штурманов, строем водили на московский Центральный аэродром.

Там, около ветхого ангарчика, проводились практические занятия: мы знакомились с материальной частью самолетов, изучали работу аэронавигационных приборов.

Мы надували пересыпанные сухим тальком кремовые шуршащие оболочки шаров-пилотов и запускали их в небо, к великому восторгу крутившихся поблизости аэродромных мальчишек. Затем, поймав шар в "крест нитей" теодолита, готовили записи для аэрологических наблюдений.

Больше всего времени у нас отнимала работа по уничтожению девиации, искажающей показания авиационных компасов.

Девиация, выражаясь языком навигаторской науки, - отклонение стрелки компаса от магнитного меридиана под влиянием расположенных поблизости масс железа и электромагнитных полей.

Такие нежелательные отклонения следовало устранить (по современной терминологии - "списать"). Но мы тогда выражались иначе - "уничтожить".

Это оказывалось хлопотливой работой. Мы ворочали самолет, как большое покорное животное, устанавливая его по различным румбам. И хотя большинство аэропланов было изготовлено из полотна, фанеры и прочих древесных материалов, оставались все же и мотор, и другие металлические части, с влиянием которых на работу этого важного прибора приходилось считаться.

Нельзя сказать, что прогулка строем нам нравилась. Во-первых, всегда рядом оказывался всевидящий, бескомпромиссный начальник строевой части комбат Зябликов. "Ножку! Ножку!.." Он был всегда подтянут, педантичен и достаточно часто использовал положенные ему прерогативы ("Два наряда вне очереди!") Кроме того, в строю очень уж муторно было тащить на себе громоздкое аэронавигационное имущество: шесты, треноги теодолитов, ящики с аппаратурой.

И все же судьба пошла нам навстречу, и после одного случая мы освободились от строевой опеки и стали добираться до аэродрома вольным порядком. Справедливости ради следует заметить: это не повлияло ни на качество учебы, ни на посещаемость занятий.

Дело заключалось в том, что мы очень любили наш московский аэродром. Каждое его посещение мы рассматривали как праздник. Особенно летом, когда зеленела трава, благоухал чистый, лишенный городской пыли воздух, неторопливо плыли по небу пышные кучевые облака и, в зависимости от старта, слышалось то со стороны Пресни, то от Петровского парка стрекотание авиационных моторов.

Но конечно, не это было главное. Главное заключалось в том, что мы оказались свидетелями и в какой-то мере участниками становления советского воздушного флота. К каждой машине мы относились с таким же интересом, как к захватывающей книге, полотну одаренного художника, гармоничному творению композитора. Мы знали в лицо асов тех времен, а кое-кто успел уже и перезнакомиться с ними: с изящным, элегантным Арцеуловым, невозмутимым, монументальным Громовым, юрким, с озорными глазами Шестаковым, грузным, громкоголосым Российским, чуть мешковатым Ширинкиным с его верным, неизменным спутником - маленьким белым шпицем, с рыжим Валентеем, охаживающим свою щеголеватую "Синюю птицу", богатырем Мельниковым, пилотом "Красного дьявола" - мощного "Хавиланда-34"... Моисеев, Воедилло, Филиппов, Веллинг и многие другие были нашими замечательными современниками. И каждый из них вносил свой героический вклад в дело развития отечественной авиации.

Как-то мы столкнулись с высоким худощавым пареньком в студенческой тужурке, подталкивающим перед собой небольшую авиэтку. Со стороны это походило на то, как человек ведет в стадо за рога молодого бычка или телку. Это был начинающий авиаконструктор Яковлев.

А уж Туполева мы узнавали вообще издалека по его характерному излому слегка сутуловатой фигуры.

В перерыв мы наскоро закусывали и, если оставалось свободное время, до изнеможения сражались в городки.

Это была самая любимая и популярная игра авиационной братии, где не оперившемуся еще курсанту предоставлялась равная возможность помериться силами и искусством с заслуженными героями не так давно отгремевшей гражданской войны...

Ранним утром в один из "аэродромных" дней перед входом в школу остановился мотоциклет с прицепом. Из люльки вылез длинноликий человек со спутанными, слегка курчавыми волосами, похожий на поэта Блока. В отличие от Блока, читавшего свои стихи несколько монотонно, но четко, приезжий выговаривал слова не очень ясно и при этом сильно картавил. Он был одет в мятые зеленые галифе и такую же гимнастерку с голубыми "разговорами". На его наручном шевроне были несколько кривовато нашиты три красных суконных ромба.

Это оказался военком Главного управления учебных заведений воздушного флота, или, сокращенно ГУУЗа, по фамилии Гоз.

- Гоз из ГУУЗа, - так он и представился стоящему у входа

дежурному и предъявил свое удостоверение.

Дежурный поста оставить не мог, телефона у него также не было. Поэтому он попросил посетителя несколько обождать, послав доложить о нем начальнику школы через оказавшегося поблизости слушателя Женьку Данилина. Братья Данилины - будущий Герой Советского Союза Сергей и Евгений учились в школе. Евгений немного заикался.

Вновь назначенный начальник школы - полный большелобый блондин Кринчик сидел у себя в кабинете, прихлебывал жидкий чай из прессованной малинки и просматривал утреннюю почту. Он долго не мог сообразить, кто, собственно, дожидается у ворот. Кстати, начальство в управлении учебных заведений менялось довольно часто.

- Так что из Г-гооза Г-гууз! - вытянувшись, рапортовал Женька.

Кринчик нахмурился, потер крутой лоб, а потом неожиданно ахнул и поспешил к воротам.

А нас в это время как раз выстраивали на улице против школы.

Кринчик отдал рапорт прибывшему, подозвал кивком комбата и попросил продемонстрировать строевую выучку курсантов. Тот взял под козырек и, щеголяя старой офицерской выправкой, отрывисто скомандовал:

- Шагом арш! - Спустя секунду он добавил: - Запевай!

И мы с ухарским присвистом, радостно гаркнули:

Три деревни, два села,

Восемь девок, один я!..

Военком болезненно поморщился и жестом приказал отставить пение. Мы оборвали песню, сделали полуоборот и, печатая шаг, остановились на месте.

- Надо сменить репертуар, - картавя, выговаривал Гоз Кринчику. - Это же сплошная похабщина! И потом, что они у вас, маленькие? Без дядьки не могут сами до аэродрома добраться? Не забывайте, это же без пяти минут летчики!.. Что?

Конечно, в значительной мере он нам льстил.

Насчет "репертуара" мы впоследствии договорились и приспособили для строя безупречное "Скажи-ка, дядя, ведь недаром". Но тут же было узаконено и другое приятнейшее для нас решение - на аэродром можно было добираться вольным порядком.

После короткого напутствия, радостные и возбужденные, мы, обретя свободу, дружно шагали по Тверской в направлении ныне перенесенных Триумфальных ворот, соблюдая указания, преподанные сквозь зубы нашим комбатом: "Не чтобы очень по

мостовой, но и не слишком по тротуару!"

Было пыльно и жарко. Вокруг гулял сухой ветер, и то и дело завивались циклончики всякого мусора. О регулярной поливке и уборке улиц тогда еще и не помышляли, хотя уже была организована Московская чрезвычайная санитарная комиссия, проделавшая титаническую работу по очистке столицы. Но это сказалось несколько позже, а пока мы жмурились от едкой пыли, кашляли, чихали, терли покрасневшие глаза.

Пилотки мы сняли, ремни ослабили, расстегнули вороты гимнастерок. Имущество тащили по очереди, его необычный вид вызывал удивленные взгляды прохожих.

Наверно, со стороны мы напоминали какую-нибудь стрелецкую ватагу, вооруженную копьями и бердышами.

Ужасно хотелось пить. По этой причине мы несколько задержались около бородатого дядьки в белом грязном фартуке, торговавшего теплым пунцовым морсом. Собственно, вот такие, изготовленные на сахарине, подозрительные напитки да еще черные рифленые ириски кустарного производства были единственным товаром, продававшимся на улицах города. Нэп еще не набрал силы, и торгаши, желавшие побыстрее обогатиться, только принюхивались к окружающей обстановке.

Мы шумной толпой окружили "негоцианта". Утолившие или, наоборот, возбудившие жажду отходили в сторонку.

Из глубин соседнего двора показалась старушка, облаченная, несмотря на африканскую температуру, в разлапанные белые валенки с малиновыми разводами и старый, замызганный ватник. Почему-то она своими красными глазами и слегка вытянутым вперед лицом напомнила мне крольчиху. Тем более что бабушка что-то непрерывно жевала.

Старушка была явно заинтересована и подошла ближе.

- Вы из чьих, робятки, будете? - чуть пришамкивая, спросила она. - Да всё молоденькие какие! Да пригожие! Ну чистые некрута! Бог-то куда несет?

И тогда, утерев рот тыльной стороной ладони, только что набравшийся от пуза пунцовой отравы долговязый и хлыщеватый слушатель Колька Натансон стал перед бабкой по стойке "смирно" и, поедая ее, словно начальство, оловянными выпученными глазами, громко отрапортовал:

- Мы, товарищ бабуся, - красные военные аэронавигаторы и направляемся все, как один, не щадя живота, уничтожать девиацию!

Бабушка ничуть не удивилась. Она и сама как-то подобралась, застегнула верхнюю пуговицу на ватнике, скрестила под грудью руки и, полупоклонившись изумленному Кольке,

суровым военным голосом ответила:

- Спасибо, радетели вы наши! Уничтожайте до последнего ее, окаянную! Пошли вам царица небесная успехов в ратном деле!

И мы тронулись по пыльной Тверской, унося вместе с аэронавигационным имуществом напутствие патриотически настроенной бабки в замызганном ватнике и белых валенках с затейливыми малиновыми разводами.

Композитор Сеня Резник

По вечерам наша Аэрофотограммшкола жила хотя и несколько сумбурной, но полнокровной жизнью.

Часто устраивались самодеятельные концерты, вечеринки, танцульки, на которые стягивались окрестные девушки от Кудринской "тарелочки" и патриархальной Малой Никитской до оживленных Грузин и кривых Пресненских переулочков.

"Тарелочка" - Кудринская площадь, или ныне площадь Восстания, получила от нас такое прозвище за совершенно круглую форму, отлично приметную с воздуха. Поднимаясь над Москвой в южном направлении, мы всегда замечали этот характерный ориентир.

На вечерах мы пели хором под аккомпанемент рояля: "Как родная меня мать провожала", "И вся-то наша жизнь есть борьба!", "Вечерний звон" и "Славное море, священный Байкал".

Мы очень любили выступления синеблузников, потрясавших на сцене красными флагами и кулаками и отрывисто скандировавших боевые революционные лозунги.

Фотограмметрист Володька Бобров неизменно исполнял "Левый марш" Маяковского. Перед выступлением он почему-то мазал румянами щеки, подводил жженой пробкой глаза и требовал, чтобы конферансье представлял его публике не иначе, как Вольдемара Бабира.

Он читал стихи, притоптывая в такт американским ботинком на толстой прессованной подошве с такой экспрессией, что мы опасались за дощатый накат нашей самодельно построенной сцены.

Как-то нам удалось залучить к себе на концерт эстрадную знаменитость Лидию Николаевну Колумбову. Она была артисткой известного московского театра-кабаре "Летучая мышь", из которого впоследствии родился "Кривой Джимми", - одного из предков Московского театра сатиры.

Жила Колумбова на Кудринской площади, в большом, ныне снесенном доме, за которым начинались тенистые аллеи Новинского бульвара, то есть никак не дальше пятисот шагов от нашей школы.

Для респектабельности решено было послать за ней легковой

автомобиль "Бенц", имевший привычку время от времени издавать на ходу звуки, схожие с выстрелами из зенитного орудия.

Доставить артистку поручили мне.

По замогильно освещенной лестнице я ощупью добрался до площадки шестого этажа, чиркнул серной духовитой спичкой, нашел номер квартиры и деликатно постучал.

Открыла сама Лидия Николаевна. Она показалась мне безумно красивой. От нее сильно пахло пряными заграничными духами и чуть послабее жареным луком. Надо полагать, артистка недавно поужинала.

Содрогаясь от ответственности и восторга, я, как умел, галантно усадил ее в автомобиль, чему она несказанно удивилась, и примерно через сорок секунд нас уже встречал у ярко освещенного входа в школу бессменный конферансье Пашка Батурин.

Колумбова имела потрясающий успех. Мы трижды заставили ее исполнить романс, от которого сходили с ума многочисленные поклонники этой действительно замечательной певицы:

За милых женщин,

Прекрасных женщин!..

На вечер мы пригласили в родственном порядке курсантов Московской школы летчиков. Их доставил на грузовичке комиссар школы Степан Цатуров, черноглазый веселый армянин, говоривший с сильным акцентом и затянутый в сплошную черную кожу, как сотрудник чека.

- Замечатэлно! - кричал он громче всех и аплодировал, не жалея ладоней. - Бэзподобно!

Единственно, чего нам недоставало, - духового оркестра. Это был существенный пробел в клубной работе. Вопрос прежде всего упирался в отсутствие капельмейстера: в ту пору это была довольно дефицитная специальность.

Как-то в обеденный перерыв, когда мы, члены школьного культпросвета, собрались на короткое совещание, один из слушателей привел с собой худощавого носатого паренька, одетого в голубоватый пиджачок и клетчатые спортивные брюки.

Прибывший отрекомендовался творческим работником Семеном Резником. Не так давно он дирижировал небольшим духовым оркестром где-то в Белоруссии. От военной службы он был освобожден из-за плоскостопия и предлагал свои услуги как вольнонаемный. Это было именно то, что нам нужно. Впредь, до приобретения музыкальных инструментов и организации оркестра, ему вменялось в обязанность аккомпанировать на рояле выступающим любителям, а также исполнять собственные музыкальные номера. Соглашался он также быть и тапером.

Сема, не входя в дальнейшие подробности, прежде всего спросил:

- Форму дадите? Я вижу, у вас такие шикарные голубые "разговоры"!

Глазки его горели завистливым огоньком.

Договорившись с начальством, форму ему выдали. Он быстро подогнал ее по своей щупленькой фигуре (как оказалось, Сема был на все руки мастер и умел неплохо портняжить) и нацепил на петлицы гимнастерки по серебряной авиационной "птичке". Затем самолично присвоил себе воинское звание комроты, пришив на нарукавный шеврон два красных суконных кубаря, переобулся в щегольские желтые краги и планомерно начал создавать себе репутацию бывалого пилота у прекрасной половины окружающего населения.

Он заимствовал у двух школьных друзей-неразлучников - Митьки Ильинского и Лешки Ермонского подержанную черную бархатную пилотку с красным кантом и золотым орлом, у которого были предусмотрительно обломаны обе головы. Друзья приобрели ее на паритетных началах на толкучке Смоленского рынка. Пользовались они этим головным убором в случаях особой важности. Теперь их конвенцию пополнил также и Сеня.

Такие пилотки еще донашивали кое-где в авиачастях некоторые консервативные летчики, хотя начальство давно косилось на них, и только благодаря боевым заслугам владельцев дело не доходило до прямого конфликта.

Пилотка была великовата, часто оседала. Положение спасали крылообразные Семеновы уши, на которых она, собственно, и держалась.

В такой блистательной экипировке Сема ежевечерне дефилировал по Твербулю, как мы панибратски именовали Тверской бульвар, пока не напоролся на начальника строевой части школы комбата Зябликова.

Дело окончилось нехорошо.

Но Сема не думал сдаваться. Он жаждал славы и сопутствующих ей лавров. Он был терпелив и обладал упорством клеща. Он караулил свой звездный час.

Как-то вечером он притащил большую пачку нот, удушливо пахнущих свежей типографской краской. Это оказался какой-то романс. На обложке крупными буквами значилась фамилия композитора - С. Резник. Фамилия автора текста была прозрачно завуалирована литерами С. и Р. Видимо, это был именно тот случай, когда композитор и поэт воплощаются в одном лице. По углам обложки были изображены четыре бледно-голубые арфы, смахивающие на уличные урны для мусора, которые

старомосковские рачительные дворники плотно притягивали проволокой к тротуарным тумбам.

Романс назывался - "К небу!".

Пониже на французском языке, но, видимо для большей ясности, отечественными буквами было набрано посвящение:

А МОН МЕР ЭМЕ.

Сема раскрыл ноты, положил их на пюпитр, взял на рояле мощный вступительный аккорд и пронзительным голосом запел какую-то муть.

Текст состоял всего из пяти-шести слов, повторяющихся в порядке очередности. Затем очередность иссякала, и те же слова выпевались, но уже в обратном порядке.

Оборвав исполнение на высокой вибрирующей ноте и эффектно взмахнув рукой, Сема закончил романс и торжествующе огляделся.

Впечатление у нас создалось неопределенное. С одной стороны, композитор - фигура, как-никак подразумевающая уважение. С другой - что-то очень уж чудное.

И тогда один из совладельцев знаменитой пилотки, школьный полиглот Митька Ильинский, увлекавшийся чтением в подлиннике авантюрных французских романов Понсон дю Террайля, которые он притаскивал со знаменитой книжной "развалки" под Китайской стеной, заинтересованно подошел ближе. Это был весьма элегантный юноша, я бы сказал, аристократической внешности, имевший манеру слегка цедить слова через сжатые губы. Можно было думать, что он потомок каких-нибудь голубых кровей. На поверку же Митька был чистопородным рязанским парнем из скромной крестьянской семьи.

Он взял экземпляр романса, перевернул на обратную сторону в поисках выходных данных и небрежно спросил:

- Вы это что же, у частника тиснули?.. Ну так и есть! А какой тираж? Надо полагать, рвут с руками?

- Пятьсот! - гордо ответил композитор (он же поэт-песенник). - Сотню утром отправил мамаше под Бобруйск. Ей и посвятил. Наверно, на той неделе должна получить. - Он еще раз с гордостью огляделся.

- Да-а! - задумчиво протянул Митька. - В каком колледже вы обучались, милорд?.. Просто невероятно! Если мне не изменяет память, речь идет о притяжательном местоимении. Но почему мужского рода? Надо быть более уважительным к своей родительнице. Клянусь Бодлером, я бы на вашем месте все-таки исправил "мон" на "ма"!

Присмотревшись к обложке, Сеня в ужасе схватился за

голову.

Вскоре после этого скорбного инцидента "мон мер" сама пожаловала в Москву по каким-то хозяйственным делам и остановилась у сына. Это оказалась еще нестарая крупная женщина с печальными восточными глазами. Ее верхнюю полную губу украшали темные лоснящиеся усики. Бесспорно, это была мужественная женщина.

Звали ее Галина Григорьевна.

Сема квартировал у Никитских ворот в крохотной комнатушке первого этажа, окно которой выходило на памятник Тимирязеву. Мы часто навещали его келью. Несостоявшийся композитор какими-то неведомыми путями сумел отхлопотать себе личный телефон, по которому всегда было можно досыта потрепаться со знакомой девчонкой. Это создало ему широчайшую популярность среди ребят, и в комнате вечно толпился народ.

День, когда ему установили аппарат, был поистине триумфальнейшим в Семиной жизни. Он клал перед собой записную книжку, испещренную именами местных прелестниц, называл телефонистке очередной номер и, когда его наконец соединяли, начинал:

- Валя (Таня, Вера, Тома, Ната и т. д.)! С вами говорит нарком!.. Почему?.. У него личный телефон!..

Галина Григорьевна заполоняла собой почти все жилое помещение, предоставленное ее сыну. По телефону она не звонила. Она пила красный морс и заедала его сухими, сморщенными грушами из сыновнего пайка.

Никитские ворота представляли собой в то время небольшую площадь, окруженную невысокими домами, стены которых еще не были заштукатурены, являя следы многочисленных пулевых щербин, свидетельствовавших об ожесточенности проходивших здесь октябрьских боев между красногвардейскими дружинами и юнкерами. По бульварному кольцу, надсадно стуча звонками, ходила "Аннушка" трамвай, обвешанный гроздьями пассажиров.

Галина Григорьевна смотрела на трамвай, на висящих пассажиров, на гранитного Климента Аркадьевича, глубоко вздыхала и, если находился подходящий собеседник, доверительно рассказывала:

- И чего моего мальчика повело сюда, в эту столицу? Ну интересовался бы делом, а то развел какую-то колупню. Музыку стал писать. Романцы!.. Скажите, какой Гайдн нашелся! С плоскостопием разве романцы пишут?.. А у него руки золотые! Ведь в нашей семье все портные. И дедушка Семочкин, и папаша. И сам Сема тоже. Он такие может пошить брюки, что самому

бобруйскому военкому носить будет не стыдно. Я ему верно говорю: мальчик, давай собирайся в Бобруйск!

Так Резнику и не удалось организовать у нас духового оркестра. Тем более пошли слухи, что школа должна переезжать в новое помещение около Таганки, а это было уже на другом конце города и далековато от нынешней Семиной резиденции. Сема срочно уволился и съехал с квартиры, не успев даже выбрать в школе месячного продпайка. Поначалу нам не хватало его главным образом потому, что некуда стало ходить поговорить по телефону. "Наркомовский" погиб для наших ребят безвозвратно: в Семиной комнате поселился какой-то милиционер. Телефонов-автоматов тогда не было, а Сема, надо отдать ему справедливость, никогда не отказывал нам в просьбах. Даже в ночное время. Он протежировал любви во всех ее проявлениях...

Спустя несколько лет мы повстречались с Ильинским на Виндавском, ныне Рижском, вокзале. Он служил в одной из авиачастей, дислоцированной около западной границы, и переводился в гидроавиацию. Митька успел после Фотограммки кончить еще и летную школу. За ним укрепилась заслуженная известность одного из лучших пилотов крупного авиационного соединения. Он был по-прежнему бесстрастно изящен. Нельзя было не, позавидовать его ладно скроенным, ловко сидящим галифе.

- А знаешь, кто шил? - заметил он мой одобрительный взгляд. - Семка Резник. Ну, наш школьный "композитор"! Неужели забыл? Отличный портной оказался. Мировой! В Бобруйске он сейчас первый закройщик в наилучшей швальне. К нему, брат, ежели штаны пошить, в очереди настоишься. Как к какому-нибудь замнаркома.

Я присмотрелся внимательнее. Галифе были пошиты действительно безупречно. Это была портновская классика.

Ну что же?.. Одни рождаются, "чтоб сказку сделать былью", другие писать высокую музыку к вдохновенным произведениям, третьи - шить отличные штучные брюки. Все благо! Важно только найти себя и укрепиться в своем призвании. Такова разумная практика жизни.

Только вот жаль - не был у Митьки по кромке пущен голубой кантик. Но тогда это еще не было положено по форме. Кантики на брюках появились в авиации значительно позже.

"Новэлла"

К той осени я должен был закончить Аэрофотограммшколу и получить звание красного военного аэронавигатора.

Оставалось защитить дипломный проект перед грозными очами членов выпускной комиссии.

Мой дипломный проект носил название:

"Аэронавигационное и аэрометеорологическое оборудование воздушной линии Москва - Вятка".

Такая тема была избрана не без задней мысли. На полпути от Москвы до Вятки находились издавна знакомые мне места, и я, естественно, лелеял мечту, что в этом направлении со временем установится воздушное сообщение и я окажусь одним из первых "воздухопроходцев" родного края.

Наверно, не я один был охвачен таким "патриотизмом местного значения", как удачно съехидничал кто-то из ребят. Фотограмметрист Степа Желнов проектировал аэросъемку в районе милого его сердцу городка Зарайска. Михаил Беляков делал попытки организовать на основании дипломных расчетов перелет в Богородск, где жила его семья.

Беляков даже решил побывать у начальника воздушного флота Баранова и добиться у него выделения самолета. Я увязался вместе с ним.

Главное управление воздушного флота помещалось на Петроградском шоссе в небольшом особняке по соседству с кондитерской фабрикой, бывшей "Сиу".

Мы быстро попали на прием к Петру Ионовичу.

Выслушав просьбу, Баранов с хрустом потянулся на стуле и поднял на нас усталые глаза.

- Понимаю, - заметил он. - Помнится, школу вашу заканчивает человек семьдесят. И большинство наверняка вот так же не против пофорсить перед своими земляками. Ну что же, может быть, это и похвально... А где я вам машин наберусь для таких вот, в сущности, теоретических экспериментов? Части трогать нельзя, у них своя учеба. Резервов у меня нет. Дайте срок, ребята, не только в Богородск - в Париж полетим. А пока рекомендую налегать на метеорологию. Очень ответственный участок. Нуждается в самой серьезной постановке дела.

В это время военная авиация еще действовала в Средней Азии, где в туркестанских песках кое-где погуливали басмачи. А вот регулярные гражданские полеты только-только начинались, и то главным образом в западном направлении. Активнее всех работал "Дерулюфт" - смешанное русско-немецкое акционерное общество, где машины водили поочередно то наши, то немцы. Воздушный путь Москва - Кенигсберг был достаточно "обкатан", аэродромное обслуживание находилось на высоте, метеосводки поступали регулярно, навигационные приборы находились в хорошем состоянии.

Летали также от Москвы до Нижнего Новгорода, но это были полеты эпизодического характера, чаще всего связанные с

Нижегородской ярмаркой.

Запроектированная воздушная трасса на две трети пролегала над лесными краями. Важнейшим земным ориентиром была избрана железнодорожная линия, уходящая от Москвы в северо-восточном направлении. Расстояние от Москвы до Вятки составляло немногим больше девятисот километров.

Если этот маршрут несколько спрямить и ориентироваться на машины Ю-13, бравшие на борт четырех пассажиров и двух членов экипажа, рассуждал я, такой рейс можно уложить часов в шесть-семь. Надо было также предусмотреть промежуточный аэродром и наметить по трассе несколько пунктов для метеорологических и аэрологических наблюдений, поблизости от действующих почтово-телеграфных отделений.

Данные для расчетов я предполагал получить не только из справочной литературы, но и практически, то есть на месте.

Короче - я решил просить разрешения выехать в Вятку.

И тогда я направился к военкому школы, курсантскому другу и печальнику Володе Степанову, всегда с полуслова угадывавшему, зачем ты к нему пришел.

У меня была порядочная общественная нагрузка, в том числе членство в редколлегии школьного журнала "Жизнь и творчество", которому военком придавал важное значение.

Вначале мы сами катали этот журнал на гектографе. Потом подыскали типографию. Тираж достиг... трехсот экземпляров. Материал мы печатали самый разнообразный.

Будущий Герой Советского Союза Серело Данилин опубликовал очерк "Музыка и марксизм", вызвавший оживленную дискуссию в одном из политкружков. Автор, избравший псевдоним "Вламар", хотя все мы отлично знали, что это фотограмметрист Володька Марцинковский, выступил с актуальной статьей "Религия и новый строй". А Сашка Соколов, страдавший зудом стихосложения, выдал большой раешник с широковещательным заголовком: "О влиянии на ширпотреб нэпа вредного" (на манер Демьяна Бедного).

Печатали мы и рассказы и даже замахивались на повесть.

- Мне бы командировочку дней на пять. Уточнить данные для диплома, придя к Степанову, после небольшого вступления начал я.

Военком отлично знал и тему моего дипломного проекта, и мою биографию, и характер, и слабости, и многое другое.

- А заодно и хариусов поудить? - подмигнул он. - Ты уж давай прямо, по-честному!

- А хоть бы и так, если время останется, - отвечал я. - Поддержи активного общественника.

- А копченого привезешь? - настырно допытывался Степанов.

- Коптить некогда будет. Навряд ли управлюсь. Соленого привезу.

- Соленого - песня не та!.. Ну ладно! Подавай рапорт, посодействую.

Удивительно легко и приятно было разговаривать с нашим замечательным комиссаром!

В это время в кабинет ввалился главный редактор журнала, слушатель Володька Толстой - крупный, топорный на вид парень в гимнастерке с короткими рукавами и брюках, сидевших в обтяжку. У школьных каптеров с ним была вечная канитель: никак не могли подобрать обмундирование по росту такому верзиле.

Редактором Толстой был беспощадным, хотя сам писал коряво, вдобавок густо уснащая свои произведения натуралистическими виньетками. Фактам предпочитал вымысел. Юмора не признавал. Но ведь издавна повелось - главреду и не заказано писать на "отлично". Он всегда в случае чего отговорится другими обязанностями. Кроме всего прочего Толстой не терпел возражений и действовал, что называется, волюнтаристски. При рассмотрении поступившей рукописи в его больших карих глазах появлялся какой-то особенный оттенок, своим цветом напоминавший мне почему-то несвежую говяжью печенку. К рыбной ловле Толстой был равнодушен совершенно.

- Пусть лучше привезет рассказ на актуальную тему, - кивнул он Степанову. - Бедновато у нас с этим жанром. Что-нибудь эдакое, происходящее на фоне смычки города и деревни. По путевым впечатниям. Какую-нибудь сочную новэллу.

Он любил это слово и, невзирая на частые корректорские уколы, упорно писал и произносил его через букву "э".

В общем, у меня набиралось три нешуточных поручения: проверить на месте теоретические выкладки по дипломному проекту, вдохновиться и написать рассказ из сельской жизни, поймать и засолить хотя бы тройку хариусов.

- Для пользы дела выпиши себе удостоверение посолиднее, - посоветовал Степанов. - В дополнение к командировке. Ну хотя бы от комиссии связи.

В школе действительно существовала такая комиссия. Функции ее были широки и по этой причине неопределенны. Членам комиссии поручалось осуществлять связь с самыми различными организациями: заводоуправлениями, фабзавкомами, женотделами, школами, зрелищными предприятиями. Я уже запамятовал, какие еще организации перечислялись в статуте. А вот в чем конкретно эта связь

заключалась, было окутано мраком.

- Слушай, - сказал Степанов, - ты всего этого не перечисляй. Не надо! Документы в дорогу следует писать коротко и загадочно.

В результате удостоверение выглядело буквально так:

"Слушатель Аэрофотограмметрической школы Красного воздушного флота (имярек) является членом комиссии связи.

Дано настоящее для принятия тех или иных мер по существу".

- Ну вот, теперь порядок! - удовлетворенно подписывая бумажку, сказал военком.

День ото дня у меня все отчетливее складывался план действий. Я добросовестно готовился, подобрал литературу и справочный материал, дважды побывал в библиотеке Румянцевского музея, продумал и составил вопросник, расчертил несколько таблиц, просмотрел кучу карт.

К концу недели я выехал в Вятку с Ярославского вокзала.

Северная дорога не производила впечатления важной магистрали. Это была скромная однопутка, где на станциях и разъездах приходилось то и дело останавливаться и ожидать встречного поезда. Паровозs редко работали на угле, чаще на дровах. Паровозные гудки ревели сипло и устрашающе. Не так давно дорогу спрямили, и, минуя Вологду, она пошла через участок Буй Данилов. Это сокращало время проезда больше чем наполовину. Новый путь пролег через сплошную глухомань. Исстари в этих местах бытовала поговорка: "Буй да Кадый черт два года искал, да так и бросил!"

Дорога была очень красива. Сразу же от Москвы, за дачной Лосинкой, начинались густые, душистые хвойные леса. Иногда они подбирались почти вплотную к полотну. По склонам насыпей пестрели немятые цветы. Будки стрелочников и дорожных мастеров, с палисадниками и огородами, выглядели буколически.

Путь промелькнул незаметно, и к концу вторых суток я достиг цели.

Вятка представляла собой небольшой складный городок, пахнувший смольем и кожей. Городок деревянный, одноэтажный, каменных строений было немного. Деревянными были даже тротуары, и это усиливало впечатление чистоты, характерной для наших северных городов. Он был расположен на крутом склоне берега реки, недаром Щедрин прозрачно зашифровал его Крутогорском. Река Вятка плавно и свободно несла свои светлые воды, чем очень облагораживала окрестные пейзажи. Население города вряд ли превосходило пятьдесят тысяч. В городе не было заметно крупных предприятий: две-три лесопилки, несколько

мастерских, кожевенные артели, небольшой спичечный заводик. Впрочем, у курящих вятичей чаще можно было обнаружить кресало, чем коробок спичек. Огонь высекался кремнем о кусок стального напильника и попадал на трут. Моя зажигалка в форме артиллерийского снаряда, заправленная авиационным бензином, сразу же завоевала уважение окружающих.

Дело пошло быстро и споро. Я разыскал в городе двух энтузиастов синоптиков, один из которых - низенький подслеповатый старикан - по своим знаниям стоил целого научного института. Вскоре я имел объективное представление о здешнем климате. В архивах губернского земотдела нашлись сводки средних температур за несколько последних лет, данные о влажности, облачности, туманах, толщине снежного покрова. Я установил направление господствующих воздушных течений и вычертил розу ветров. Под конец с пожелтевшим от неумеренного употребления самосада суетливым дежурным по станции прикинул среднее число пассажиров, следующих из Вятки в Москву и обратно. Каким бы скромным оно ни оказалось, в переводе на потребность в самолетах цифры выходили фантастические. Но я причислял себя к оптимистам.

Неплохо получалось и с аэродромом. Словоохотливые старожилы указали мне на сравнительно большую площадку в заречье, верстах в пяти от города. Правда, путь шел по привычному рассейскому бездорожью. Тут-то и пригодилось интригующее удостоверение комиссии связи. Внимательно перечитав его, зареченский председатель сельского Совета вздохнул и молча выделил по трудгужналогу хорошую телегу на железном ходу, запряженную лоснящимся сытым меринком.

Площадка была окружена со всех сторон лесом, защищавшим ее от ветров и не мешавшим, однако, взлету и посадке машин. Правда, кое-где пришлось бы раскорчевать некоторое количество старых пней и подсыпать грунта, но я не был связан таким беспощадным экономическим показателем, как себестоимость. В восточном углу аэродрома находился небольшой холмик, где отлично могли разместиться цистерны с горючим. Вода оказалась неподалеку: из рощицы вытекал говорливый родниковый ручеек. Нашлось подходящее место и для аэродромной метеостанции.

Самое сложное было с дорогой. Еще "не опоясали цепко деревню каменные руки шоссе" в ту дальнюю пору. Уже и то спасибо, что от берега реки до будущего аэродрома не встретилось ни одного серьезного болота.

Чем больше я наполнялся информацией, тем сильнее крепла уверенность, что недалек день, когда проект воздушной лоции действительно осуществится. Высокие чувства обуревали меня. И

уже виделось, как нарастает в небе большая металлическая птица и, распластав мощные крылья, приземляется на вятском аэродроме. И как мы с пилотом не спеша вылезаем из машины и покровительственно жмем руки благодарным пассажирам.

Теперь требовалось подыскать подходящее место для промежуточного аэродрома. Это было особенно важно для моих тайных надежд.

И, покинув гостеприимную Вятку, я на обратном пути слез с поезда на небольшой тихой станции с романтическим названием Николо-Палома.

Это была Костромская губерния, родина моих предков. От станции пролегал ямщицкий путь на посад Парфентьев, а дальше - к полноводной Унже на Кологрив. Не так далеко отстоял и Галич, где стяжатель боярин Шемяка вошел в историю своим "праведным" судом, и Солигалич, где поражал земляков бескорыстием лесковский квартальный Однодум, и затерявшаяся среди поросших лесом холмов Чухлома с озером, славным полупудовыми замшелыми карасями.

Найти вторую площадку оказалось много проще. Я запроектировал ее неподалеку от станции. Теперь я располагал достаточным материалом для окончательной работы над дипломным проектом...

Но вот сюжета для обещанного рассказа пока не находил. Наверно, от обилия и новизны впечатлений многое еще не отложилось в голове.

Тогда я решил посетить Сору-речку, одно название которой таило для меня глубокий смысл и неотразимую привлекательность.

Собственно, это была даже не речка, а большой ручей, петлявший в сплошной ломи, или, как здесь говорят, в шахре, и впадавший в приток Немды лесную речку Шую. От Николо-Паломы Сора протекала далековато. Попасть на нее было ближе от соседнего разъезда, куда я быстро и удачно добрался на товарном порожняке.

В те времена в костромской глубинке можно было наткнуться на многое, чего давно уже нет: на непуганые стаи рябчиков по осиновому мелколесью, на шатуна-медведя, на древней рубки одинокие скиты, где от шумного света спасались лохматые, одичавшие старцы, на кустарные смолокуренные заводы, на затаившиеся в немыслимой глуши хутора, где встречались аборигены, в глаза не видевшие железной дороги.

С детства я привык пробираться по этим лешачиным тропам, через топи и болота, гари и завалы, чтобы добывать в таких вот речушках, как Сора, хариусов, или, по-здешнему, сорьёзов, -

осыпанных темными звездами голубоватых рыб нежнейшего вкуса.

Наскоро переодевшись, я ушел с разъезда рано утром и часа через три по компасу и десятиверстке корпуса военных топографов добрался до лесного кордона - большой, ладно срубленной пятистенки с отвоеванным у леса огородом. Рядом стояло несколько пчелиных колод, вокруг которых гудели их обитатели. На широком крыльце лежал большой кобель из гончаков-костромичей, такому, пожалуй, впору было единоборство с самим медведем. Он не поднялся с лаем навстречу, но и не выказал симпатии, продолжая молча лежать на месте. Пришлось остановиться и крикнуть. Дверь не спеша отворилась, и, перешагнув через стража, на крыльцо вышел пожилой богатырь в линялой ситцевой рубахе без пояса, холщовых штанах, сильно бородатый, с копной путаных сивых волос, перехваченных на лбу кожаным ремешком. Он был могуч, весел и жизнерадостен. Когда я несколько сбивчиво объяснил цель своего визита, он ничего не ответил, но начал разглядывать меня с таким пристальным интересом, что стало просто неловко. Потом заговорил густым, дьяконским басом, напирая на букву "о":

- По пустяку, паря, время тратишь. Из какой дали приехадчи, да за рыбой?! Чудак, пра! Тебе не за рыбой, а за бабами самое время гонять... Эх, мне бы да твои годки!

Правду сказать, я был обескуражен столь неожиданным поворотом и даже проврал что-то невнятное насчет того, что уже женат.

- Одно другому не помеха, - отпарировал богатырь. - Мотри, просвистишь время-то! И потом жона што - она вешш табельная!

И подмигнул так, что половина его бороды резко дернулась вбок.

В эту минуту поднялась занавеска, и в раскрытое окошко высунулась голова приветливой сухонькой старушки, повязанная чистым белым платочком.

- Молчи-молчи! - пропела она, обращаясь к мужу, и безграничное обожание засветилось в ее взоре. - А ты, миленькой, не слушай его, он смолоду такой озорник. Ему ежели насчет грешного потолковать - хлебом не корми!.. А так-то он мужик смирный. От жены не бегает.

"Черт подери! - подумал я. - Какого же еще корабля с мачтами?! Вот он рассказ! Сам в руки лезет. А уж о сочности персонажей и говорить не приходится!"

Через час мы оказались друзьями с затейным Иваном Васильевичем и даже обнаружили в разговоре несколько общих знакомых.

Лесник свел меня на Сору, протекавшую в каких-нибудь трехстах метрах от избы. Полкан почтительно сопровождал нас. Хозяин зачерпнул из речки берестяным ведерочком - бураком - немного воды и плеснул ею на кобеля. На мокрую собачью шерсть через какую-нибудь минуту дружно налетели крупные слюдокрылые слепни.

Так была получена отличная приманка для рыбной ловли, и действительно мой улов вскоре перекрыл самые оптимистические предположения.

И хозяйка даже успела закоптить рыбу в просторной русской печи на влажных ольховых ветках.

Рассказ я писал ночью в поезде, при колеблющемся свете оплывающей стеариновой свечки. Вокруг разноголосо храпели умученные за день пассажиры. Вагон жестоко бросало из стороны в сторону, и строчки прыгали перед моими глазами. Это был рассказ о чистой и верной любви, восторженное эссе с лирическими отступлениями. К приезду в Москву он был готов.

В этот же вечер я пошел в школьное общежитие к Володьке Толстому. Он сел за стол, небрежно взял мое произведение, и в глазах его немедля появился тухловатый редакторский блеск.

- Мельчишь! - возвращая листочки, сказал он противным, скрипучим голосом. - Не пойдет твоя новэлла. Какая-то она безыдейная. И сюжета нет. И примет времени маловато. И фантазии не хватило. Придумал бы хотя какую актуальную концовку.

- Это какую же?! - оторопел я.

- Да мало ли?.. Ну скажем, на соседнем кордоне скрывается дочь экспроприированного лесопромышленника. И от непереносимой любовной тоски сходится с этим твоим дедом. А бабка накрывает их на лесной лужайке и ухлопывает разлучницу из ружья. На суде все выясняется, старухе выносят оправдательный, и у них с дедом опять налаживается жизнь, как у Филимона с Бавкидой. - Он торжествующе посмотрел на меня.

- Сам ты Бавкида! - с сердцем сказал я, забирая листки. - Тебе не редактором быть, а прасолом!..

На защите отметили тщательную подготовку моего дипломного проекта. И хотя он так и запылился в школьном техническом архиве, было приятно узнать, что много лет спустя идея его осуществилась. Ныне за два часа на комфортабельном лайнере можно попасть с подмосковного Быковского аэродрома в большой промышленный город, носящий имя уроженца здешних мест, пламенного трибуна революции Сергея Мироновича Кирова.

Парашюты Котельникова

По окончании Аэрофотограммшколы, получив звание

военного аэронавигатора, я был направлен на Научно-опытный аэродром Красного воздушного флота, или, сокращенно, в НОА.

Эти три кабалистические букиы - НОА - красовались на голубых петличках наших шинелей и гимнастерок и вызывали различные толкования среди неискушенной публики.

Размещался НОА в Москве, на Ходьшском поле.

По смыслу НОА был сродни нынешним НИИ, но не являлся, подобно им, узкоспециализированной организацией.

Дело в том, что мы занимались самыми разнообразными экспериментами. Чаще всего нам приходилось испытывать пределы скорости, какую можно было выжать из того или другого самолета. Это называлось испытанием на километр. Иногда требовалось определить максимальную высоту, на которую способна взобраться машина. Это было испытание на потолок. Последние метры потолка обычно давались с большим трудом, тем более что полет происходил уже в условиях низких температур.

Помню, как при одном таком испытании я отморозил три пальца на левой ноге. На земле в это майское утро было около двадцати градусов тепла. На высоте - двадцать ниже нуля. Да еще не по Цельсию, а по Реомюру.

Возможно, я и сам несколько виноват в этой промашке. Нам только что выдали элегантные фетровые сапоги с желтыми кожаными обсоюзками. Доверившись их внешнему виду, я не догадался надеть лишнюю пару шерстяных носков.

Были и другие испытания.

Сегодня мы испытывали приспособление для захвата с летящего самолета подготовленных к отправке грузов, напоминавшее большой рыбацкий самодур для ловли ставриды. Завтра - компас, наполненный вместо благородной спиртовой жидкости густым желтоватым лигроином.

А на третий день к нам неожиданно завозили разных подопытных животных, и после таинственных манипуляций, проделываемых над ними хмурыми, малоразговорчивыми работниками химической защиты, мы должны были поднимать животных в воздух, наблюдать и записывать их реакции.

На этот раз мы готовились к серии испытаний наших, отечественных парашютов системы Котельникова.

Элитой нашего небольшого коллектива летной части являлись пилоты и хронометристы-наблюдатели, непосредственно проводившие испытания в воздухе. В числе обслуживающего персонала были у нас и просто хронометристы. На их обязанности лежала земная подготовка испытаний. Летать их никто не принуждал.

Хронометристы-наблюдатели, как и летчики, получали существенную прибавку к зарплате. Эти деньги почему-то назывались "залетными".

Хронометристы никакой денежной добавки не получали.

Среди хронометристов выделялся молодой рыжеватый паренек Гренков, часовщик по профессии, чрезвычайно аккуратный и дотошный в работе. Все мы симпатизировали ему и шутливо прозвали его "Греночки".

Греночки нельзя было отнести к числу отважных людей. Скорее наоборот. На неоднократные предложения подняться в воздух он неизменно отговаривался:

- Нет, нет! Это уж вы сами летайте. Вам за это тугрики причитаются.

На аэродроме было принято подтрунивать над трусоватыми ребятами, и поэтому при удобном случае мы твердо решили разыграть Греночки. Такой случай скоро представился.

К этому времени в нашу летную часть стал наведываться уже немолодой, высокий военный с темным худощавым лицом, слегка тронутым оспинками. Это и был Котельников.

Теперь мы имели возможность ближе познакомиться с этим замечательным человеком. Котельников оказался в высоком смысле слова энтузиастом, отдававшим все свои недюжинные знания и энергию развитию отечественного парашютизма.

Парашюты его системы, носившие название ранцевых, были приняты еще в годы первой империалистической войны.

За день до начала испытаний великий мастер по всякого рода розыгрышам плотный золотозубый весельчак хронометрист-наблюдатель Алексеев неожиданно вспомнил о Греночки. Ничего не подозревавший часовщик был занят в этот момент усиленным копанием в механизме одного из барографов.

Алексеев сбегал в канцелярию к знакомой машинистке и вскоре возвратился с четвертушкой бумаги, в углу которой был оттиснут штамп НОА. Греночки уже не было, он ушел обедать. Он всегда ходил обедать раньше других.

Тогда Алексеев, подмигнув, показал нам бумажку. Мы прочли: "Хронометристу НОА Гренкову А. П.

Завтра, 14 мая 1924 г., в 14 ноль-ноль назначены испытания парашютов системы Г. Е. Котельникова.

Вам предлагается совершить первый прыжок с самолета "Фоккер С-4", пилотируемого красвоенлетом Растегаевым Ф. С.

О результатах донести".

Следовали наскоро подделанные подписи начальника и комиссара части.

К концу дня двенадцатилетний Колька, выполнявший у нас

обязанности доброхотного курьера, вручил бумажку Греночки.

Надо было видеть, как человека повело! Мне даже показалось, что рыжие его волосы неожиданно позеленели. Греночки заметался по комнате, пытаясь вызвать сочувствие окружающих. Но мы молчали как каменные, приняв совершенно невозмутимый вид. Кто-то, впрочем, заметил:

- Так ведь не даром же. Наверно, аккордно за прыжок выпишут... А тебе что, тугрики лишние?

В совершенной панике Греночки рванул в управление части и вскоре вернулся оттуда с комиссаром Васильевым.

Комиссар у нас был интересный. Добряк по характеру, по внешности он смахивал на одного из героев Хичкока. Народ между собой даже прозвал его вампиром. Он был немногословен. Редко кто видел его улыбающимся.

- Ребята, - зловещим хриплым голосом сказал комиссар, вертя в толстых пальцах гренковское предписание. - Вы все-таки полегче на поворотах. А то и привлеку за хищение казенных бланков!

- И подделку подписей, - с невозмутимым видом добавил Алексеев.

- И подделку подписей, - согласился Васильев и вдруг, повернувшись к Греночки, захохотал громким клокочущим смехом: - Значит, и за тугрики отказываешься?..

Но Греночки Греночками, а испытания на следующий день мы начали. На аэродром завезли несколько чучел в рост человека, пошитых из толстого брезента и плотно набитых песком. Мы тут же окрестили их "ваньками". К каждому "ваньке" был прикреплен парашют.

Такой груз требовалось сбросить через люк в брюхе самолета.

Разумеется, предварительно скрупулезно рассчитывались самые точные данные: высоты, скорости самолета, угла сноса в зависимости от силы и направления ветра, устанавливалась зона приземления и ряд других показателей. Приземляться "ваньки" должны были на Ходынском поле, поэтому далеко от аэродрома машины не уходили.

Словом, наблюдатель получал точные указания, когда и где он должен сбросить груз с борта машины.

Первое испытание кончилось неудачно. Парашют не сработал, и чучело упало на путях Окружной дороги, угодив в тендер маневрового паровоза, стоящего в тупике. Брезент, конечно, лопнул. Остатки "ваньки" мы привезли на аэродром. Котельников был вне себя, метал громы и молнии. Как большинство изобретателей, он всюду видел покушение на свое детище. Конструктор категорически потребовал замены

наблюдателя.

Теперь приходилось сбрасывать чучело мне. Мы полетели с Федей Растегаевым. Мы уже не раз проводили совместные испытания и применились друг к другу. Полетели на "Фоккере С-4" - машине, довольно распространенной в те времена.

Кабина у наблюдателя на этом самолете была достаточно вместительная. Правда, в нашем случае надо было садиться спиной к пилоту и поддерживать чучело над люком до условного сигнала. После этого оставалось только отпустить руки, слегка подтолкнуть "ваньку", засечь время и задраить люк.

Старт был дан в сторону Тверской заставы, день стоял ясный и тихий, но, когда пилот полез на вторую тысячу, на высоте поднялся ветер.

Спустя немного времени я услышал условный свист Растегаева (он умел свистеть на манер Соловья-разбойника), отпустил чучело, закрыл люк и быстро перебрался на свое постоянное место.

Я выглянул за борт, но, к удивлению, нигде в окружности, не заметил белого купола парашюта.

Первый, кто встретил нас на земле, когда мы уже подруливали к ангару, был разъяренный Котельников.

Это был очень экспансивный человек. Мне не хочется сейчас повторять те слова, которые пришлось в тот раз выслушать от уважаемого Глеба Евгеньевича.

Парашют опять не сработал, и "ванька" сверзился на территорию Московского клуба лыжников, приспособленную в летнее время под спортивный стадион.

Немедленно вызвали машину, и Котельников вместе с аэродромным начальством выехал на розыски упавшего груза.

Найти его оказалось несложно, чучело угодило на одну из беговых дорожек стадиона. По счастью, дело обошлось без жертв...

Следующее утро оказалось воскресным. Решив отдохнуть от треволнений прошлого дня, я рассеянной походкой направился позавтракать в знакомую пивнушку на Большой Грузинской, снискавшей себе славу отменными свиными отбивными.

Я всегда придерживался мнения, что любая пивная в утренние часы является почти элегическим заведением, не идущим ни в какое сравнение с пивной перед ее закрытием. Утром вся окружающая атмосфера пивного зала обычно бывает наполнена духом самого мирного сосуществования.

Этот пивной зал казался особенно уютным: до блеска протертые стекла, чистые занавески, пол, посыпанный свежими опилками. На стойке алела гора вареных раков, и мой

наметанный рыбацкий глаз сразу определил, что это, бесспорно, добыча из Белого озера в Косине. А из кухни тянуло упоительным ароматом свиной отбивной на самом подходе.

Посетителей было немного. В левом углу двое железнодорожников, должно быть сменившихся с дежурства, миролюбиво выясняли степень уважения друг к другу.

Справа, за двумя сдвинутыми столиками, веселилась компания молодых, жизнерадостных ребят.

Центром внимания у них был худощавый, невысокий, очень пропорционально сложенный паренек в спортивной майке, с ясными голубыми глазами, стриженный под бокс, с небольшой русой челочкой.

К нему то и дело обращались, поднимая тяжелые пивные кружки, чокались, с чем-то поздравляли.

С моей отбивной дело задерживалось. Я встал из-за столика, направился к стойке и получил от буфетчика клятвенное заверение, что все будет готово ровно через пять минут. Заодно поинтересовался причиной шумного пиршества моих соседей.

- Валера из Курбатовского переулка, - наклонившись ко мне, доверительно пояснил словоохотливый буфетчик. - Недалеко отсюда квартирует. По нашим Грузинам первый спортсмен. Этот, как его?.. Спрынтер. Сколько грамот имеет, вы бы видели! Вчерась на тренировке какой-то паразит на него с самолета чучелу скинул. Насилу Валерка успел ногу подобрать. Вот и радуется. И друзья с ним тоже переживают. Оно понятно - немного человек на Ваганьковское не угодил. Это ведь неизвестно, где найдешь, а где потеряешь. Пожалуйте к столу, котлетку вашу несут!..

"Мир тесен, - рассуждал я по дороге, возвращаясь к себе на родимую Пресню. - Но в конце концов, вины моей здесь нету. Это уж пусть сам Котельников разбирается что к чему".

Тем не менее, я с чувством облегчения посмотрел на отразившуюся в стекле ближней витрины мужскую фигуру в штатском пиджаке, с богатырскими ватными плечами и в брюках дудочкой - несколько клоунской моде тех далеких нэповских лет. Хорошо, что не надел я в то утро авиационной формы!

Спустя несколько дней специально созданная комиссия подробнейшим образом разобралась в причинах описанных неудач. Оказалась какая-то неувязка с карабинчиками, которую быстро и надежно устранили. Мы сбросили еще несколько "ванек", но уже вполне благополучно. Вскоре парашюты Котельникова были приняты в наших военно-воздушных силах, положив одновременно начало широкому развитию парашютного спорта.

Было и еще одно немаловажное обстоятельство: страна освободилась от импорта "ангелов-хранителей" - так вызывающе-рекламно именовались парашюты американского производства.

Впоследствии Глеб Евгеньевич частенько заходил в нашу летную часть, сохранив со всеми прекрасные отношения. Ребята тоже сияли, и только один Греночки опасливо косился в нашу сторону.

Рыженький

В годы моей юности Ходынка не мыслилась без аэродромных мальчишек.

Еще не было большой строгости с пропусками, на аэродром попадали все желающие, и уж, конечно, пацаны оказывались там завсегдатаями.

Разумеется, мальчишки были нашими первыми и бескорыстными помощниками. Их преданность авиации и остальные высокие чувства проистекали из чистейшего энтузиазма. Некоторым даже выпадало счастье подняться в воздух. Это было великое мальчишечье счастье!

Из этих ребят впоследствии вышло немало знатных людей: известных пилотов, штурманов, инженеров, конструкторов. Стоит поинтересоваться биографиями многих признанных ныне героев старших поколений, и вы установите совершенно точно, где зарождалось их авиационное влечение.

Спутниками ребят частенько оказывались животные, обычно собаки, иногда кошки. Помню одного паренька, неизменно притаскивавшего с собой на аэродром дряхлого белоносого грача. Другой пресненский житель не расставался с чиграшом, которого ловко подбрасывал в воздух и вскоре опять обнаруживал на плече. А друг его приносил в кармане небольшую черепашку, пускал ее погулять по аэродромной травке и строго по часам кормил обрывками капустных листиков.

Кроме ребячьих собак, покидавших аэродром после окончания полетов вместе со своими хозяевами, на поле оставались местные беспризорные псы, каких и теперь можно встретить на стройплощадках, около больших разбросанных складов и в воинских частях. Они кормились от случая к случаю, но тем не менее ревностно охраняли признаваемые ими за свое жилище ангары, бараки и другие строения.

Конечно, мы не забывали о существовании этих верных стражей и всегда старались принести для них из дому что-нибудь съестное.

Центральный аэродром в ту пору не имел даже порядочного забора. На его окраине, тяготевшей к Всехсвятскому, еще сохранялось несколько домиков сельского типа, владельцы

которых пасли скот - коров и коз - на невозбранных аэродромных угодьях.

А из близлежащих переулков со стороны Петровского парка, особенно в часы утренней тишины, слышались петушиное пение, энергичный гогот гусей, а иногда и взбалмошное бормотание индюка.

Картинки сельского быта еще мирно уживались здесь с прогрессом авиационной техники.

На аэродроме любили животных, особенно собак. Впрочем, отважным людям, а у нас таких было немало, всегда свойственно это благородное чувство.

Я не представляю себе весьма популярного в свое время красвоенлета Ширинкина без крохотного белого шпица, которого он как-то особенно ловко устраивал у себя за отворотом кожаного реглана и частенько брал в свои рискованные полеты. Это был очень озорной пилот, удосужившийся в один и тот же день получить благодарность высокого начальства за безукоризненное выполнение фигур высшего пилотажа и тут же следом несколько суток губы за проявление недопустимого воздушного лихачества. Самое трогательное то, что и гауптвахту Ширинкин отсиживал вместе со своим неразлучным четвероногим другом.

Еще припоминаю одного из летчиков с обожженным, изуродованным лицом в неизменном сопровождении приземистого уродливого бульдога. Мне почему-то всегда представлялось, что этот пес оттягивает на себя какую-то долю тяжелого впечатления, возникающего при взгляде на физиономию его патрона.

Были у нас и привилегированные собачки. К примеру, золотистый ирландец, принадлежавший Коле Шебанову, тогдашнему инструктору Московской школы летчиков. Прибывая с хозяином на аэродром, сеттер немедленно устремлялся к Т-образному полотнищу, выложенному в районе старта, и с независимым видом укладывался поблизости, ожидая взлета своего хозяина.

В кабину он не напрашивался, на этот счет Шебанов был строг, но при разгоне самолета некоторое время, захлебываясь лаем, мчался с ним наперегонки. Это было занятное зрелище, которое мы старались не упустить. Совершив в воздухе несколько головокружительных фигур, юркий короткохвостый "Ньюпор" быстро шел на посадку, и сеттерок встречал его, восторженно приветствуя звонким лаем. Позже этот пес, звали-то его Нэпиром, час в час прибегал на аэродром к прибытию машины Шебанова, возвращавшегося из международного рейса на пассажирском "Фоккере" или "Дорнье". Но это было позже, когда Шебанов уже

перешел в "Дерулюфт", где вскоре стал одним из первых советских пилотов-"миллионеров".

Бывали комичные случаи, о которых потом долго и охотно судачили на аэродроме. Так, двое пилотов, перегонявших из Берлина в Москву большой, громоздкий "Кондор", поместили в туалете, расположенном в хвосте машины, шотландского скотчтерьера - черненького щенка из породы, в столице еще не встречавшейся. Это уж много лет спустя с такой собачкой стал выступать на манеже веселый клоун Каран д'Аш. "Кондор" имел двойное управление, расположенные рядом пилотские места разделял небольшой прогал. Каково же было удивление летчиков, когда соскучившийся в одиночестве пассажир, воспользовавшись неплотно прикрытой дверью, проковылял на коротких ножках весь длинный коридор и как ни в чем не бывало расположился между пилотскими креслами, с интересом задрав уморительную мордашку, словно принимая участие в управлении машиной на правах третьего пилота.

Собаки были популярны на аэродроме. Многие из нас знали наизусть ходившие по Москве еще в списках знаменитые есенинские стихи "Собаке Качалова", а позже и "Сеттера Джека" Веры Инбер, где героем был пес, не пожелавший покинуть хозяина в роковую минуту воздушной катастрофы:

На земле уже полумертвый нос
Положил на хозяина Джек.
И люди сказали: - Был пес,
А умер, как человек.

Поэтому всякое поползновение обидеть кого-нибудь из "братьев наших меньших" воспринималось как несоответствующее духу аэродромных традиций. На этой почве иногда возникали даже пререкания. И я ни разу не заметил, чтобы в собаку, птицу или кота кто-нибудь бросил камень или палку...

С некоторых пор одна из организаций молодого еще Осоавиахима начала проводить эксперименты над животными, связавшись для этой цели с Научно-опытным аэродромом, где я тогда работал. Эксперименты не носили широкого характера и практиковались от случая к случаю. Проводили их на собаках. Собак привозили маленьких, тщедушных, по большей части "дворянской" породы. Маленьких, видимо, еще и потому, что в нашем парке не находилось подходящих машин, в кабине которых можно было бы поместить большую клетку с крупными животными. Привозили их после какой-то нам неизвестной, но, надо полагать, мучительной обработки: я замечал у большинства поступавших тоскливые, потухшие взгляды.

Надо было поднять этих "пациентов" в воздух и там, на

разных высотах, записать их реакции. Записи требовалось сдать представителю этой организации, плотному пожилому человеку с пышными рыжеватыми усами и равнодушным взглядом. Он был одет в ладную комсоставскую шинель со споротыми петлицами и шапку-ушанку, отороченную мехом, вызывавшим у нас прямые ассоциации с его таинственной деятельностью.

Привозимых животных Усатый именовал не иначе, как "материал", и ни в какие дальнейшие пояснения обычно не вступал. Говорил он громко и гнусаво.

Несмотря на высокую дисциплину, отличавшую наш небольшой летный коллектив, опыты проходили не всегда гладко. Случалось всякое: некоторые из животных не выдерживали испытаний, и, приземлившись, мы возвращали Усатому их окоченевшие трупы. Другие оказывались в коматозном состоянии. Наши ребята не отличались сентиментальностью, да и не так редко мы становились очевидцами гибели и друзей и сослуживцев. И необходимость этих жестоких экспериментов мы тоже отлично понимали... И все же получалось что-то не то! Скорее всего, мы не могли привыкнуть к страданиям животных, да, наверное, и не очень хотели привыкать.

Началось с того, что старейший летнаб Сергей Сергеевич Павлов, человек, бесспорно, мужественный, безотказно выполнявший самые рискованные задания, на беду, оказался любителем-собаководом, да еще в придачу авторитетным собачьим судьей. Получив распоряжение поднять в воздух какого-то уже полузатравленного кобелька, он окинул дрожащего пса взглядом своих выпуклых глаз и, вытянувшись в струнку перед начальником летной части, узколицым стремительным Карповым, прерывающимся от волнения голосом отрывисто заявил:

- Нет уж, извините-с! В живодерстве участия принимать не намерен-с! Вплоть до увольнения из кадров! Вплоть до увольнения!

- Конечно, Василий Васильевич, вы только подумайте, как он после такой экзекуции в глаза своей Люське смотреть будет? - поддержал Павлова обычно неразговорчивый, держащийся особняком летчик-истребитель Савельев.

Люся была всем нам хорошо знакомая сука - кофейной окраски пойнтер, дипломантка, медалистка. Павлов часто брал ее с собой на аэродром.

Да и не один Павлов так реагировал на эти распоряжения. Каждый стремился изобрести предлог, чтобы ускользнуть от неприятного поручения. Федя Растегаев пробурчит что-нибудь насчет простреленной ноги и, неожиданно охромев, подастся в околоток. Миша Лапин с его белозубой улыбкой исчезнет из

ангара как старорежимное привидение, а уж от его моториста ровно ничего не добьешься. Пожилой военлет Медведев так жалостливо заморгает глазами, которые у него и так-то слезились, что у деликатнейшего Василия Васильевича просто не хватит духу отдать ему нужное распоряжение. Даже вернейшего нашего "порученца" губастого пацана Кольку, почитавшего Ходынку своим вторым домом, и того, словно нарочно, нигде не окажется поблизости. Так и полетит в конце концов сам Карпов, прихватив с собой кого-нибудь из молодых летнабов.

Наша летная часть помещалась около главного входа на Центральный аэродром, рядышком с павильоном метеорологической станции, сокращенно именуемой ЦАМСом, и представляла собой деревянную барачную постройку, состоящую из нескольких маленьких комнатушек и совсем уж небольшого тамбура. Над станцией обычно развевалась конусная полосатая "колбаса", похожая на флотскую тельняшку. Начальником станции был Василий Иванович Альтовский, небольшого росточка, добрейшей души ученый-синоптик, беспощадный, однако, к малейшему нарушению строевой дисциплины. Он то и дело одергивал еще не притерпевшихся к службе молодых красноармейцев аэродромной команды, поражая их грозным окриком: "Почему вы меня не приветствуете? !", и доводил уловленную жертву едва не до шокового состояния. Почему-то эта высокая требовательность, как я замечал, всегда была присуща именно метеорологам, лицам, по сути, мирнейшей профессии, и весьма редко наблюдалась у кадрового летного состава.

В субботу я пришел раньше обычного, так как поддежуривал по части. На дворе был порядочный туман, и полеты, по моим расчетам, должны были начаться не раньше полудня. "Хорошо бы поточнее узнать погоду, - подумал я и уж вовсе собрался направиться к соседям, как увидел в окошко бойко вышагивавшего по аэродрому Василия Ивановича. - Наверно, с утра пораньше собирается заполевать очередного нарушителя!" Оказалось, я ошибся. Альтовский торопился в наш барак. Он распахнул дверь, взял под козырек и своим частым ярославским говорком сообщил:

- Там за воротами, кажется, опять собак привезли. А часовой без вас машины не пропускает. Весьма отрадно, подтягивать начинаем дисциплинку. Извольте принять груз!

И, повернувшись кругом, громко захлопнул за собой дверь.

Я нехотя направился к воротам, за которыми слышались треск и урчание автомобильного мотора. Действительно, это прибыл грузовичок, приспособленный под перевозку животных. В его кузове был укреплен большой ящик из свежей фанеры,

похожий на те, в которых выезжают зимой на рыбалку самые отчаянные рыболовы-любители.

Часовой открыл ворота, машина въехала, развернулась и, пятясь, пришвартовалась к нашему бараку.

Из кабины не спеша вылез Усатый.

- Принимайте материал! - прогнусавил он, даже не поздоровавшись. И, хмыкнув, добавил: - Только нынче другой сорт!

Я был в полной уверенности, что это, как и раньше, собаки, но несколько удивился, не услышав внутри фургона обычного лая и повизгивания. Усатый открыл дверцу, и, присмотревшись к полусумраку помещения, я обнаружил там с десяток небольших клеток, нагроможденных кучей друг на друга.

В них оказались... кошки.

- Я ж и говорю - другой сорт, - осклабился Усатый.

Кошек на аэродроме тоже хватало, но они были в большинстве животными нелюдимыми и держались обособленно. Несколько раз мне приходилось наблюдать, как они, рассевшись широким кругом где-нибудь подальше от ангаров и мастерских, сохраняя полное молчание, проводили какие-то свои мистические сборища. Этакий безмолвный "круглый стол"! Еще, пожалуй, меня удивляла способность кошек не мигая смотреть на яркое солнце. Но я не придавал этим наблюдениям большого значения.

Итак, на этот раз "материал" оказался действительно другого сорта. Каждая из кошек была заключена в тесный ящик, на манер посылочного, затянутый вместо крышки проволокой и закрепленный топорным деревянным вертушком. Животные вели себя сравнительно спокойно, пока мы не взялись за клетки, но при переноске начали метаться и пронзительно мяукать.

Клеток оказалось точно десять, но за один рейс поднять в воздух больше пятка все равно было нельзя. Они просто не влезли бы в кабину наблюдателя. Мы перетащили ящики в тамбур, после чего Усатый быстро уехал, чтобы потом успеть вернуться к обеду.

У меня оставалось достаточно времени, чтобы подробнее ознакомиться с прибывшими. Мы отобрали пять клеток для первого подъема и вынесли наружу, чтобы было сподручнее перенести их к самолету. До наших ангаров было недалеко.

До этого я как-то мало разбирался в кошках, не приглядывался к ним и расценивал их деятельность единственно с меркантильной точки зрения - ловли мышей. Тут они действительно несли свою тихую, незаметную, но полезную вахту. Кошки значительно сократили у нас количество мышей-полевок, а главное, крыс, нагло хозяйничавших в складских помещениях. Мне как-то даже пришлось участвовать в комиссии,

списавшей партию отличных кожаных пальто, изгрызенных этими вредителями за какие-нибудь несколько ночей.

Конечно, мы были невежественны в отношении этих животных. Наука не установила еще фантастического свойства кошек - "глазного слуха", позволяющего животным, занесенным за десятки километров от жилья, безошибочно возвращаться к дому, причем кратчайшим путем. Ничего не известно было и о локационных свойствах кошек, определявших, к примеру, приближение самолетов противника задолго до того, как звукоулавливающие станции подавали сигнал тревоги. И уж никто представления не имел о стабилизирующей роли кошачьего хвоста, помогающего животному при падении с большой высоты угадывать на землю всеми четырьмя лапами.

Все это выяснилось много лет спустя. А пока я оставался на уровне обывательских мнений, что кошки, дескать, животные ограниченные, блудливые, привязывающиеся не столько к хозяину, сколько к теплой печке, не выражающие большой тоски при разлуке со своими владельцами. Да я и сам был почти равнодушен к кошкам.

Среди отобранных животных был крупный лобастый кот дымчатой окраски, со здорово погрызенными ушами, явный бродяга и волокита в недавнем прошлом. Он упорно, поворачивался мордой в угол своей камеры, словно не желая иметь ничего общего с этим так жестоко обошедшимся с ним миром. "Не жилец!" почему-то подумалось мне. Были две серо-белые кошки, ничем особо не примечательные, худые и облезлые - типичные посетительницы небогатых по тем временам городских помоек. У одной мордочка была поуже и поострее, на манер лисьей. Другая отдаленно напоминала рысь, сверкала широко расставленными глазами и все время фыркала и шипела. Еще была очень аккуратная, ухоженная трехцветная, по поверью, счастливая кошечка, подтверждавшая в данном случае всю несостоятельность такого определения, удивленно и испуганно озиравшаяся по сторонам.

Был, наконец, светло-рыжий, пушистый зеленоглазый кот, сразу остановивший мое внимание. "Распластайся такой на паркете в комнате - издали и не заметишь", - подумалось мне, и я сразу про себя прозвал его Рыженьким.

Теперь, когда животные оказались на расстоянии каких-нибудь нескольких сантиметров от моего лица, я мог подробнее рассмотреть каждое из них и даже обнаружить некоторую индивидуальность в их поведении. Каждая из кошек вела себя по-своему. Дымчатый так и не пожелал повернуться к свету и только время от времени крупно вздрагивал всем телом. У одной из

серо-белых, той, которая была с узкой мордочкой, я заметил на глазах слезы. Другая начинала кружить в попытках поймать свой хвост, но это было, конечно, вовсе не то восхитительное развлечение, которому часто предаются жизнелюбивые котята. Покружившись, кошка забивалась в угол клетки и время от времени оскаливалась. Настырнее всех оказалась трехцветная: стоило подойти к ней ближе, как она истошно и раздирающе начинала запевку и ее немедленно поддерживали остальные.

И только один Рыженький сидел с отсутствующим видом, не обращая, казалось, внимания на происходящее. Он не присоединял своего голоса к нестройному хору товарищей по несчастью. Ни единым звуком не выдал он своего настроения. И наверно, независимым внешним видом, мужественным поведением и притягательной внешностью возбудил симпатию не только у меня. Около клетки задерживались летчики, механики, красноармейцы и прочий аэродромный народ, высказывавший одобрительные замечания в адрес рыжего симпатяги. "Вот это кот!" - восхищенным шепотом протянул наш Колька. Даже Альтовский остановился перед клеткой, долго смотрел на Рыженького, покачал головой и только после этого направился к себе в ЦАМО.

Вскоре появился Карпов, уже в комбинезоне и унтах, и распорядился готовить животных к подъему, а мне скорее одеваться. На этот рейс нам выделили трофейный "Дейчфор" с мотором "Сидлей-Пума". "Пума" было название, данное неспроста: машина издавала в полете неприятный свистящий звук. И особенно при посадке. Что делать, самолетов у нас не хватало, а испытания были самые разнообразные. Через двадцать минут я уже сидел в кабине наблюдателя, плотно заставленной клетками своих пассажиров.

По старту дежурил красвоенлет Иванов, фигура в своем роде примечательная. Этот пилот обладал непомерно длинной шеей, которую не привык баловать ни воротничком, ни шарфом, и поэтому удивительно смахивал на петуха редкостной голошеей породы. Конечно, Иванов был в курсе того, какой необычный груз находится у нас в самолете. Он подошел к содрогавшейся от работы мотора машине, сунул голову в мою кабину, произнес: "Кис-кис!" закадычно подмигнул Карпову и только после этого, махнув флажком, разрешил нам зеленую улицу.

Василий Васильевич долго разгонял самолет. Разбег у "Пумы" оказался порядочный, и мы поднялись, протянув совсем низко над трамвайными проводами. Поначалу я не заметил ничего особенного, мне даже показалось, что животные стали смирнее. Возможно, это так и было от неожиданности. Но при первом же

крутом вираже начался такой бедлам, что неохота и вспоминать! Я буквально оглох от раздирающего душу кошачьего концерта, аранжируемого свистящим воем мотора. А дальше начало сказываться и падение давления, которое не все животные одинаково переносили. По условиям задания через каждые пятьсот метров высоты мы должны были делать "площадку" и по возможности внимательнее фиксировать на этом режиме поведение наших пассажиров. Кроме того, с высотой ощутительно падала температура, и это тоже, видимо, оказывало свое влияние. Когда мы подходили к четвертой тысяче, я заметил, как дымчатый кот судорожно дернулся и свалился на бок. А затем на кошек начала нападать какая-то сонливость, да и мне самому стало труднее дышать. Летали мы без кислородных приборов. Но чуть только самолет начал снижаться, стенания возобновились. И совсем уж тошно стало, когда пошли на посадку и "Пума" стала завывать сильнее. Этот тягостный звук, сопровождаемый воплями и мяуканьем, был трудно переносим. Я и сам несколько ошалел.

И только один пассажир этого рейса вел себя спокойно. Это был Рыженький. За все время полета он не издал ни единого звука и словно гипнотизировал меня взглядом своих широко раскрытых зеленых глаз. Право, можно было поверить, что у этого удивительного кота какая-то особенная выдержка! Мало того, Он и расположился в своей клетке совсем по-домашнему: подобрал аккуратненько под себя комочки бархатистых лапок и, казалось, только-только что не мурлыкал. А может, он действительно "заводил свою песнь" или собирался мне "сказку говорить"? Но разве расслышишь ее в этом хаосе звуков? Он словно бы привнес в эту тяжелую обстановку частичку домашнего уюта. Глядя на него, невольно думалось о вьюжном зимнем вечере, снеге, падающем за окнами, натопленной комнате, кровати, застеленной мягким ворсистым одеялом. Как вписался бы в этот мирный уют Рыженький, свернувшийся на постельном коврике большим пушистым кренделем!

Мысли повели дальше, и почему-то я вспомнил еще случай из своей недавней командировки в шумную, пеструю Астрахань, где на одной из окраинных улиц повстречал дребезжащую телегу, а На ней железную клетку. Телега была запряжена старым, костлявым одром, на облучке сидели два ловца бродячих животных: полусонный, клевавший носом жирный, бритый старик и рядом с ним кареглазый калмычонок, которому навряд ли было больше десяти. И как я кинулся тогда в горком комсомола и со всей юношеской скандальной горячностью потребовал у одного из растерянных секретарей немедленно отстранить несчастного мальца от этого жестокого ремесла.

Чего только не вспомнишь, когда душа не на месте!

А душа-таки в самом деле оказалась не на месте.

И главной причиной был этот самый Рыженький, привязавший меня к себе какими-то таинственными флюидами. По счастью, вторая партия животных была поднята в воздух на другом самолете. Я оказался свободен. Но право, в этот день с меня и так хватало впечатлений.

Потом мы все пошли обедать в столовую напротив аэродрома. Направился с нами и Усатый. Как всегда, он был молчалив, и вытянуть из него хоть словечко насчет дальнейшей судьбы животных оказалось невозможным. Да мы уж и не настаивали. Кстати, он оговорился, что это, пожалуй, последняя партия "материала". Действительно, это был его последний визит.

Обедал я без обычного аппетита. Мне мучительно хотелось еще хоть раз взглянуть на Рыженького. Я не выдержал и сообщил об этом Усатому, когда мы возвращались обратно.

- А мне-то что? - ответил он безразлично. - Ступай, гляди, коли охота!

Полусогнувшись, я забрался в фургон и поначалу словно ослеп после яркого полуденного солнца. При моем появлении животные заметались в своих темницах.

Клетки были прислонены к задней стенке фургона. Конечно, они свалились бы вскоре после выезда на булыжную мостовую. Я сразу обнаружил того, кого искал. Должно быть, еще и потому, что и он ожидал этой встречи, устремив на меня свой зеленый, лучистый, колдовской взгляд. Кот сидел в излюбленной домашней позе, подвернув под себя подушечки передних лапок. Чего бы я не дал, чтобы избавить его от дальнейшей горькой судьбины! Но это было выше моих возможностей. Говорить с Усатым на подобную тему было бесполезно.

- Прощай, Рыженький! - вполголоса сказ-ал я, обращаясь к нему. - Не поминай лихом!

И - хотите верьте, хотите нет - произошло нечто, от чего у меня похолодела спина. Рыженький... мяукнул! Мяукнул первый раз за все время нашей встречи - мягко, нежно, деликатно. Вроде бы он и яе жаловался на суровую свою участь, а просто сообщал о ней с некоторой укоризной. Это он-то, у кого, как я посчитал, стальные нервы!.. Черт знает что! А может, он ставил на меня сейчас свою последнюю ставку и теперь понял, что игра его проиграна? Или как это?.. Аве цезарь!.. Пойди разберись в кошачьей психологии!

Весь конец дня я пытался гнать от себя тяжелые мысли, но это мне не очень удавалось. Тем более что фургон продолжал стоять поблизости от нашего барака и был отлично виден из

окна. Я хотел отвлечься работой и притащил для заполнения внушительную пачку каких-то старых расчетных таблиц. "Уж скорее бы они уезжали, что ли!" - тоскливо думалось мне. А потом я в недоумении начал замечать как вокруг машины стала насасываться людская толпа. Присмотревшись, я опознал и голую шею Иванова, и широкую спину Феди Растегаева, и нашего начтеха, в ту пору еще не ставшего знаменитым Ваню Спирина, и Василия Ивановича Альтовского, и нек"горых других. Не понимая, в чем дело, я вышел из барака.

Около фургончика слышались возгласы, смех, разговоры, перекрываемые раздраженным голосом Усатого.

- Колька! - обратился я к болтавшемуся около крылечка нашему "сыну полка". - Чего это там еще за буза?

- Кот из клетки сбежал, - охотно отозвался Колька, растягивая в улыбке свои марокканские губищи. - Ну и ко-от!

- Рыженький? - с закипающей радостью в груди переспросил я. - Как это он сумел?

- Значит, сумел, - отвечал Колька. - Кому очень надо, тот всегда сумеет, - заключил он тоном, исполненным твердой уверенности...

В годы моей юности Ходынка не мыслилась без аэродромных мальчишек.

Сильные ощущения

Частная мужская гимназия Флерова помещалась в паутине старомосковских переулочков, на углу Медвежьего и Мерзляковского.

Против выхода Мерзляковского на улицу Герцена не так еще давно стоял длинный двухэтажный дом. В одном из его торговых помещений на моей памяти последовательно возникали и исчезали: писчебумажный магазин "Глобус", лавка гробовщика, мастерская по ремонту пишущих машинок, продовольственный магазин. Затем дом снесли, и теперь на его месте разбит большой зеленый газон.

"Глобус" являлся торговым предприятием, обслуживавшим в первую очередь учащихся и преподавателей флеровской гимназии.

Мы покупали в магазине тетрадки, дневники, учебники, золотистые металлические перья № 86, значки для фуражек в виде двух скрещенных веток, посередине которых крепился наш гимназический шифр - МГФ, и карандаши фирмы Фабера.

Как-то я приобрел в "Глобусе" небольшую записную книжку в синем коленкоровом переплете, прельстившись тем, что впервые в жизни обнаружил в ней свою фамилию, набранную типографским шрифтом.

Книжка называлась: "Список учеников московской мужской гимназии А. Е. Флерова" - и предназначалась для учителей. Начинаясь с перечня приготовишек, она заканчивалась восьмым классом, где завершала образование взрослая, часто усатая публика.

Состав учащихся был очень разным. Большинство происходило из семей интеллигенции и лиц свободных профессий: инженеров, врачей, адвокатов, художников, артистов, ученых.

Немало было отпрысков купцов и промышленников: Коншиных, Ляминых, Расторгуевых, Морозовых.

Училось человек пять из графского сословия.

Были даже два князя. Один из "их сиятельств" - Енгалычев - являлся хроническим второгодником.

В общем-то, это была буржуазная гимназия. Многие из ее питомцев приезжали к урокам на родительских рысаках и даже на автомобилях, что по тем временам являлось уж вовсе редкостью.

Тем не менее из флеровцев вышло немало интересных и полезных людей.

Летом в большую перемену нас выпускали на школьный двор - каре, огражденное со всех сторон тыльными фасадами смежных зданий. Двор был невелик и поэтому буквально кишел народом. Этим пользовались богатые балбесы и швыряли в ученическую толпу из окон серебряную мелочь. А разобраться, не такая это была и мелочь. На гривенник можно было купить два отличных пирожных или, что еще сытнее, две жирные, из влажного ноздрястого теста слойки. А курящие покупали папиросы "Осман" в плоской синей коробочке с золотым вензелем в верхнем углу.

Когда народ очень уж начинал бушевать и в воздухе явно потягивало дракой, из большого застекленного кабинета появлялся сам владелец гимназии Александр Ефимович Флеров - седой благообразный старик с ухоженной бородкой, в очках с золотым ободком. Он сокрушенно качал головой и громко выражал возмущение фразой, ставшей для нас крылатой:

- И это дети интеллигентных родителей!

Его зычный скрипучий голос долго резонировал в высоких учебных коридорах.

Флерова никто не боялся. Мы гораздо больше считались с директором гимназии Барковым - сухопарым энергичным человеком с властным суровым лицом. Он был известным географом, автором ряда отличных учебников и сызмальства стремился привить нам вкус к "музе дальних странствий". Он возглавлял школьный географический кружок, где я исполнял обязанности секретаря. Впоследствии Александр Сергеевич Барков был избран академиком и создал много новых трудов уже при Советской власти.

За годы, проведенные в стенах гимназии, мы отлично изучили друг друга, знали, кто чем дышит. В первую очередь, разумеется, своих одноклассников. Чем дальше, тем ощутимее становилось наше деление на физиков и лириков. Одних манили гуманитарные факультеты расположенного поблизости Московского университета. Других - технические учебные заведения. Одни мечтали о медицине, другие - об археологии, третьи уже видели себя известными адвокатами, четвертых влекла сцена.

Были и неприкаянные, мятущиеся, так толком и не решившие, куда направить свои шаги.

Такие "неопределившиеся" часто пополняли собой скаутские дружины.

После занятий мы переодевались в полувоенную форму цвета хаки, вооружались длинными и тяжелыми дубовыми посохами, слегка надвигали на лоб широкополые шляпы и шли маршировать на Ходынку, распевая по дороге скаутский марш на мотив известной английской песенки "Типерери".

Ходынка казалась безлюдной, и только из глубины поля, куда нас категорически не допускали, раздавалось редкое урчание авиационных моторов.

Впрочем, затея со скаутами окончилась довольно скоро, не принеся ничего, кроме разочарования. Одним из первых это, кажется, понял командир нашего звена Володя Шнейдеров, которого спустя много лет вся наша страна узнала как кинорежиссера-документалиста и первого председателя телевизионного Клуба кинопутешествий.

Несколько моих сверстников увлекались авиацией, подумывали о летной школе. Но пока не получалось с возрастом. Мне, например, не было и полных шестнадцати. В таком же положении находился и Костя Мандер.

Больше, чем нам, повезло Фабио Фариху, он оказался несколько старше, весьма "удачно" застряв на второй год в одном классе. Правда, в летную школу он сразу не попал, поначалу пристроился мотористом в одном из авиаотрядов, но впоследствии из него вышел один из известных советских полярных летчиков.

Мы с Костей читали "Синий журнал", "Ниву", еще кое-какие тощенькие журнальчики, откуда скрупулезно выуживали скудные сведения о летчиках и полетах. Мы были потрясены героической биографией Нестерова, автора первой мертвой петли и грозного тарана. Мы могли дать подробную информацию об успехах наших знаменитых авиационных современников: Уточкина, Васильева, Габер-Влынского...

Костя раздобыл где-то заигранную пластинку, которую часто ставил на. граммофон фирмы "Хиз-маютерз-войс", с изображением белого фокстерьера, сидящего перед раструбом граммофонной трубы.

Под аккомпанемент рояля трагический баритон мелодекламировал популярные стихи, посвященные памяти одного из русских офицеров, капитана Мациевича, разбившегося на аэроплане в первую империалистическую войну:

Как ястреб, как орел, паря над облаками,

Бесстрашно рассекал он облаков туман...

Костя слушал и бледнел от волнения. Наверное, ему это трудно давалось при таком густом.румянце. Он был высокий рыжеватый блондин, спортивного склада, длиннорукий, длиннолицый, с располагающей улыбкой, слегка трогавшей его тонкие губы. Он крепко поджимал их, почти забирая в рот, когда волновался, и тогда его обычно внимательный взгляд становился отвлеченным, устремляясь куда-то в пространство.

- Слушай! - задыхаясь, шепотом говорил он и похолодевшими пальцами сжимал мою руку. - Слушай, ведь это так прекрасно! Какой силы ощущения!..

По окончании гимназии, или, точнее, уже школы второй ступени, мы вскоре потеряли друг друга из виду. Я остался в Москве и поступил в Аэрофотограммшколу. Конечно, аэронавигатор - звание, которое я получил, - не главная летная специальность, в самолете за ручку не подержишься, но к небу все-таки ближе. О Косте я слышал, что он учится на берегах Черного моря, в Качинской школе летчиков.

Но здесь я должен прервать воспоминания о флеровской гимназии и перенестись памятью на добрый десяток лет вперед, в столицу Белоруссии город Минск, куда судьба привела меня в погожий август 1926 года.

В те времена Минск производил впечатление сугубо провинциального, утопавшего в зелени городка, на три четверти состоявшего из одноэтажных деревянных домиков. Даже вокзал в городе был деревянный. По улицам ходила конка - небольшие, открытые по бокам вагончики с продольными лавочками для пассажиров. Лошадки бежали не торопясь, и поэтому народ садился и слезал прямо на ходу.

Я приехал в Минск в командировку, чтобы выполнить поручения моей воинской части. В западных районах нашей страны должны были проводиться крупные военные маневры.

Погода стояла удивительная - солнечная, мягкая, с редко перепадающими теплыми дождиками, и город показался мне вдвойне прекрасным, как, впрочем, всякий новый город, когда ты молод, полон сил, всем интересуешься и ждешь от окружающего чего-то неизведанного и радостного.

Маневры прибавили оживления Минску. На улицах появилось много военных, по большей части молодых, рослых ребят. Кое у кого постарше на груди красовались нечастые тогда ордена. Ордена закрепляли под красные шелковые розетки, и они издали напоминали большие пунцовые цветы. На воротниках гимнастерок мельтешили разноцветные петлицы: алые - пехотные, синие кавалерийские, голубые - наши, авиационные.

Позвякивали шпоры, щелкали каблуки. Проходящие то и дело замедляли шаг, слышались приветственные возгласы, однополчане, ветераны гражданской войны узнавали друг друга. Случались неожиданные радостные встречи. Смыкались крепкие объятия.

По вечерам авиационная братия собиралась в центре города, в небольшом ресторанчике, куда часто заходил Вострецов - долговязый худощавый мужчина, с жестоким лицом, неожиданно менявшимся от доброй, простецкой улыбки. Он симпатизировал летчикам и сам много рассказывал о своих фронтовых переделках. Вот уж действительно было кого послушать! Вострецов носил четыре ордена Красного Знамени. Таких кавалеров в ту пору было только два - он да еще Фабрициус.

Выходя утром из гостиницы, я неизбежно сталкивался с начальником военно-воздушных сил Петром Ионовичем Барановым, человеком крупным, цветущим, с внимательными, чуть прищуренными глазами. Он направлялся на один и тот же уличный перекресток, где его уже ждал, задыхаясь от восторга, белобрысый вихрастый чистильщик сапог. Баранов явно протежировал этому пацану, посылая многих к нему драить обувь, хотя, по-честному, наши сапоги и так блестели словно зеркало.

На вторые сутки по приезде я встретил на улице Костю Мандера. Он выходил с товарищами из кафе, видимо только что хорошо позавтракав, облизываясь, как сытая рысь, - веселый, благодушный, сияющий молодостью и здоровьем.

Костя мало изменился. Мне только показалось, что руки его стали еще длиннее - мускулистые, цепкие руки спортсмена.

Мы крепко обнялись и решили возвратиться в кафе, отметить встречу бутылкой пива.

Уединившись за розовую ситцевую занавеску, в некое подобие отдельного кабинета, мы забросали друг друга десятками вопросов.

Прежде всего, конечно, вспомнили о флеровцах. По-разному сложились их судьбы. Немало из богатеньких драпануло с родителями за рубеж, имея к этому вполне веские основания.

Сын начальника московской охранки Шурка Мартынов одним из первых перебежал к белым, где, по слухам, работал в контрразведке... Ну что же, как говорится, "яблочко от яблони..."

А Сережка Иванов, племянник нашего гимназического служителя дяди Степы, примерно в то же время сражался с беляками где-то под Царицыном.

Тишайший Миша Егоров неожиданно исчез из родительского дома, объявившись в... Италии, где его выгодно женили какие-то

дальние родственники.

А чернобровый Емеля Гуковский окончил военное училище и успешно командовал одним из артиллерийских подразделений Красной Армии.

Юра Николаев начинал свое блистательное восхождение в МВТУ имени Баумана.

Игорь Ильинский играл Аркашку в "Лесе" у Мейерхольда и начинал сниматься в "Папироснице из Моссельпрома"...

- А помнишь, на вечера к Брюхоненко бегали? (Это, была соседняя с нашей женская гимназия.) Там еще девушка одна здорово стихи декламировала... Забыл?

- Нет, не забыл... "В моем саду мерцают розы белые!.."

- Вот, вот! Наташа Сац! Она куда-то в театр подалась.

- А Терешкович Макс? Он ведь тоже на сцену собирался?

- В Театре Революции. Режиссером. "Спартака" поставил. Видел я этот спектакль. Театральное событие!

- А про Виктора Гольцева не слыхал?

- Подробностей не знаю. Говорят, пишет. Это серьезный парень.

- А помнишь, Вертинский к нам на вечер приезжал? Песенки Пьеро исполнял. В колпаке фунтиком, и все лицо в муке вымазано.

- Это, наверно, не мука была, а пудра!

- А не забыл, как мы из-под черепахи спирт вылакали? У Сергея Ивановича Огнева. В естественном кабинете. Вот шухер-то был!

- Дети интеллигентных родителей!

Мы загоготали.

- А пластинку про капитана Мациевича не забыл? Вспоминаешь?

- Что ты, как можно! С нее, собственно, и началось...

Косте жилось неплохо. Он считался лучшим пилотом, флагманом эскадрильи и вывозил самого комэска.

- Значит, сильных ощущений теперь хватает? - улыбнулся я.

- На уровне!.. Конечно, служба кадровая, военная. Дисциплинку начинают заметно подтягивать. Но жить можно.

Мне по делам службы надо было попасть на одну из промежуточных авиабаз, расположенную около Койданова, небольшого местечка, невдалеке от польской границы. Поручение было несложное, дела на какой-нибудь час.

- Слушай, Костя! - пришла мне в голову мысль. - А не подкинешь ли ты меня при случае в это самое Койданово? Аэродромишко там есть, и, я слышал, порядочный. Вот бы мы с тобой и помечтали, только уже наяву. Слетали бы на пару... А?

- Пожалуй, я бы смог, - загоревшись, отвечал он мне. - Время пока есть. Комэска тем более в Москву вызвали. Военком свой, вместе на Каче учились. Думаю, разрешит. И тогда поддержим, черт возьми, знамя старых флеровцев!

Когда я на другой день спозаранку пришел на аэродром, Костя уже ожидал меня. Вскоре мы заняли места в машине, и дежурный по старту, взмахнув флажком, разрешил взлет.

Кабина наблюдателя была просторна, и в ней можно было расположиться с большим комфортом. Приборы на доске находились в отличном состоянии. Почему-то не было только компаса, но меня и не тревожило его отсутствие при таком ближнем перелете.

Утро выдалось свежее и влажное. Белоруссия вообще отличается сыроватым климатом. В болотцах и низинках стелился небольшой туман.

Пилотом Костя оказался действительно классным. Я сразу это ощутил по короткому уверенному взлету. Вскоре Минск лежал перед нами как на ладони. Набрав около тысячи метров, машина устремилась на запад. Солнце всходило за нашими спинами, и его лучи скользили по крыльям самолета.

К тому времени у меня уже накопился известный опыт, и я мог на равных вести профессиональную беседу с бывалыми пилотами. С прогнозированием погоды я тоже близко соприкасался.

Но в одном я так и не мог никогда разобраться - в стремительном и коварном образовании осенних туманов. Впрочем, этого, видимо, и сейчас не могут толком предугадать даже квалифицированнейшие метеорологи.

Словом, минут через десять мы оказались в густейшем "молоке"! Ничего вокруг не было видно. Ни к чему была и карта, которую я извлек из-под желтоватого целлулоида планшетки.

Минут пятнадцать, не снижая высоты, мы еще побродили в тумане.

- Будем спускаться! - решил Костя, показав рукой вниз.

Машина скинула добрых пятьсот метров. По альтиметру до земли оставалось еще четыреста. Туман и не собирался редеть. Пошли еще ниже. Триста. Двести. Сто пятьдесят. Сто! Наконец маленько разъяснилось, и показался какой-то поселок. А мы летели уже на бреющем. Десятка три разбросанных домишек. Зеркало длинного полузаросшего пруда.

"Что за нечистая сила? - вспомнилось мне старое калязинское присловье. - Ведь в Койданове не должно быть никакого водоема!"

Теперь уже все отчетливо просматривалось. Готической архитектуры церквушка. Должно быть, костел. Кладбище. За ним

ряд аккуратных кирпичных домиков. Напротив нечто вроде плаца - квадратной площадки. Из крайнего помещения быстро вышла человеческая фигура в незнакомой форме: короткая шинель, портупея, какой-то странный головной убор с приплюснутой тульей и большим козырьком...

"Конфедератка! - так и шибануло меня по мозгам... - Так это же панская Польша!"

Мысли замелькали как бешеные:

"...Все! Нарушили границу! Сейчас снимается звено самолетов, возьмут в клещи, и - хана! А у нас даже пулемет не заряжен! Слетали к теще на блины! Теперь насидишься в ихней дефензиве. Вот тебе и загранполеты! Сильные ощущения! Сам, дурень, влип и Костьку за собой потянул. Флеровцы, нечистая сила! Побратимы!.. Господи, что ж теперь делать-то?!"

Это просто невероятно, как много можно передумать за такой короткий срок!

Тут обернулся и Костя, и я заметил, как сквозь густой румянец щек проступили несвойственные ему бледные пятна.

Разумеется, он тоже молниеносно оценил обстановку. Я определил это по его напрягшейся спине. Задирая машину, он тянул ручку на себя. Наш четырехсотсильный "Либерти" ревел на самом пределе. Мы лезли, лезли! Уже опять двести метров. А вот и триста. Пятьсот. Семьсот. Уф-ф! Теперь гибельный туман оборачивался для нас спасительным. Наконец мы взмыли над ним, увидели сквозь редеющую уже дымку солнце и ринулись ему навстречу.

Вскоре туман улетучился так же неожиданно, как и возник. Через какие-нибудь двадцать минут мы приземлились на минском аэродроме. Какой дорогой и желанной показалась родная земля!

Костя долго не вылезал из кабины. Можно было подумать, что у него затекли ноги. Наконец он снял шлем, вытер испарину на лбу, взглянул на ручные часы и, должно быть, по неразгаданным законам телепатии удивительно знакомым скрипучим голосом изрек фразу, так и вертевшуюся у меня на языке:

- И это дети интеллигентных родителей!

Рассказ о мужестве

Когда я слышу мотив некогда популярной песенки "Алла-верды", которую поют иногда хором захмелевшие пожилые люди, мне становится грустно.

И я обязательно вспоминаю сверстника своей молодости - Валерия Михайлова, с которым встречался на московском аэродроме. И не только встречался, но и связан был крепкой

дружбой.

Валерий приехал в Москву откуда-то из-под Тифлиса, где родился и воспитывался, с твердым намерением поступить учиться в Академию воздушного флота: он мечтал стать авиационным конструктором. А до поры устроился хронометристом-наблюдателем на испытательную станцию авиационного завода. Он участвовал в рискованных опытных полетах и часто поднимался в воздух.

Его записи, обработанные после полета, отличались высокой точностью и объективностью, и даже самые придирчивые летчики-испытатели охотно брали Валерия с собой, зная, что такой наблюдатель никогда не подкачает.

Это был носатый, на первый взгляд меланхоличный паренек. Глаза у него были большие, карие, с желтоватыми белками, и он часто шутливо закатывал их. Кавказ наложил отпечаток на внешний вид моего друга. Коренной русак, он даже разговаривал с небольшим грузинским акцентом. Здороваясь, он по-восточному прикладывал правую руку к сердцу и низко склонял голову. Носил сапоги без каблуков, с мягкими задниками и длинную серую рубаху с небольшим стоячим воротником, перехваченную в талии узким ремешком с металлическими бляшками. Он очень любил на ходу вполголоса мурлыкать себе под нос куплеты из песенки "Алла-верды", а прощаясь, неизменно произносил одну и ту же фразу: "Ну, я пошел!" - поворачивался к собеседнику на сто восемьдесят градусов, не оглядываясь, махал рукой и, несколько косолапя, быстро удалялся.

Ему часто присылали из родительских виноградников терпкое черное вино "Изабелла" в небольших бараньих бурдючках со смешными растопыренными култышками, одна из которых была крепко перетянута прочным шпагатом. При встречах по вечерам мы быстро опорожняли очередной бурдючок, обменивались примечательными случаями из своей молодой жизни.

Днем мы встречались в обеденный перерыв, стремясь закусить пораньше. Помнится, мы все время хотели есть. Аэродромная столовая помещалась в старинных апартаментах Петровского дворца - безмолвного свидетеля нашей авиационной молодости. В столовой всегда аппетитно пахло: один из поваров, по слухам, раньше работал у самого Судакова - владельца знаменитого ресторана "Яр".

Но у нас была и другая причина спешки. Мы стремились опередить приход в харчевню сухощавого, чуть горбатенького синоптика из аэродромной метеостанции. Это был какой-то особенный человек; - "горчичная чума", как мы его окрестили. Он

неизменно заказывал две порции заправленного помидорами украинского борща, собирал с окрестных столов все перечницы и горчичницы и опорожнял их содержимое в свои тарелки. Он в буквальном смысле опустошал столовую. Затем разбалтывал свое дьявольское месиво черенком алюминиевой ложки и только тогда принимался за еду. Насколько помню, во время этого процесса его лицо хранило улыбку, которую мы определяли как сардоническую.

Пообедав, мы отправлялись побродить по Петровскому парку, проходили охраняемую зону, где строился большой металлический дирижабль, которому, увы, так и не суждено - было полететь, и попадали в район поселка Зыково, густо заселенного авиационной братией вкупе с настоящими и фальсифицированными цыганами, выступавшими по вечерам в многочисленных злачных заведениях, расплодившихся во времена нэпа.

И часто можно было наблюдать какого-нибудь плохо проспавшегося, заросшего черным волосом участника Поляковского хора (большинство цыганских хоров почему-то тогда рекламировались как Поляковские), удобряющего навозом крохотный огородик около своей хибарки, и такого же волосатого соседа его, стоящего по другую сторону низенького забора, на котором проветривался мехом наружу громоздкий авиационный комбинезон, перебирающего свою "подругу семиструнную" и с надрывом исполняющего один из жестоких романсов:

Сколько счастья, сколько муки

Ты, любовь, несешь с собою!..

Такие послеобеденные прогулки настраивали нас на веселый лад, и мы, посвежевшие и отдохнувшие, к концу перерыва торопились возвратиться на аэродром.

Наш аэродромный быт был в большой степени связан с Петровским дворцом. Там размещалась значительная часть различных авиационных канцелярий. Там жили кое-кто из сотрудников и пилотов со своими семьями. Там мы питались. Там мы лечились: несколько комнат занимала наша аэродромная поликлиника.

Конечно, авиационной медицине тех лет было далеко до современной, которую обслуживает целый ряд научных институтов и лабораторий. У нас дело обстояло не в пример проще, хотя проверка здоровья летного состава становилась год от года чаще, строже и регулярнее. Ну а пока мы прилежно дули в резиновую кишку, определяя жизненную емкость, и не так уж редки были случаи, когда, к бурному восторгу ребят и сдержанной реакции медперсонала, кто-нибудь из воздушных

богатырей, поднатужившись и подмигнув окружающим, вышибал пробку, затыкавшую конец дугообразной трубки ртутного манометра.

А то нас заставляли подбирать по цвету плюшевые шарики, чтобы получить последовательную гамму цветов спектра, - выискивали дальтоников.

Еще чаще дело ограничивалось простейшей проверкой нервной системы: врач постукивал молоточком по коленным чашкам, разрисовывал наши грудные клетки деревянной палочкой или заставлял растопыривать на руках пальцы, наблюдая за их дрожанием.

Прием обычно заканчивался дружеской беседой с врачами и сестрами. К слову, категория "прихварывающих", столь распространенная в нынешних поликлиниках, у нас начисто отсутствовала.

Несколько иное, я бы сказал, двойственное отношение сложилось у нас к зубоврачебному кабинету. Я ни разу в жизни еще не встречал человека, который любит лечить зубы. Если в посещении других кабинетов риска, собственно, не было никакого: на худой конец накапают тебе в мензурку какого-нибудь горького зелья, чем дело и ограничивалось, то с зубным врачом шутки плохи, особенно когда она берется за гибкий вал сверлильной машинки и при помощи ножного привода, как какой-нибудь точильщик ножей-ножниц, начинает запускать тебе сверло в рог.

И тем не менее очень многих неудержимо влекло к этому пыточному кабинету. Я уже подсказал читателям: врачом была особа женского пола... Но какая.

Звали ее Александра Ивановна.

Это была очень уж красивая, высокая, статная женщина, с тяжелым узлом каштановых волос на гордо посаженной голове и внимательными, участливо-насмешллвыми зелеными глазами - смелая, решительная, безапелляционная в суждениях и диагнозах.

Все мы отлично изучили ее любимый приемчик. Усадив пациента в кресло и заставив его широко раскрыть рот, она чувствительно долбала по зубу каким-нибудь из своих инструментов и вкрадчиво спрашивала:

- Больно?

- Конечно, больно!

- Ну вот и чудесно! Вам, значит, больно, а нам хорошо. Зуб живой... А ну-ка раскрывайте шире рот!

Она снисходительно принимала многочисленные комплименты в адрес своей внешности, но никто не мог

похвастать, что добился у нее успеха или преимущества перед остальными. Должно быть, постоянное общение со средой молодых, грубоватых, здоровых мужчин выработало у нее некий условный рефлекс. О него и разбивались все попытки переступить грань, которую она почитала запретной.

Поговаривали, что аэродромный волокита, красавец мужчина красвоенлет Монастырев, не знавший осечки в своих многочисленных галантных турнирах, сделал попытку посетить зубоврачебный кабинет, откуда вскоре выбыл четким строевым шагом, однако несколько пошатываясь и крепко придерживая рукой правую щеку. До этого никто из ребят слыхом не слыхал, чтобы Монастырев жаловался на зубную боль, напротив, он неоднократно хвастал, что зубы у него, как у донского жеребца. Так или иначе, по это был его первый и последний визит к неприступной Александре Ивановне.

Той весной что-то очень зачастили с проверками на здоровье. Самолетостроение добилось значительных успехов, возрос выпуск отечественных машин. Бывший велосипедный завод "Дукс", самокатом которого я так удачно в свое время пользовался, делал новую машину марки Р-1. Это было крупной победой наших конструкторов и авиастроителей. Усилили свои требования к пилотам и вообще летающим людям и врачи. В какой-то мере это коснулось и зубных дел. Регулярная проверка полости рта стала обязательной. Лечение зубов также.

Валерий Михайлов при всем своем железном здоровье не мог похвалиться единственным - зубами. Он с явной неохотой ожидал вызова к Александре Ивановне.

Так уж получилось, что нас вызвали в одно и то же утро. Перед нами в полутемном коридорчике на ожидальной скамейке корчилось еще трое ребят, как оказалось, из летной школы в Серпухове.

Среди пациентов царило молчание, изредка прерываемое приглушенной воркотней: в полный голос народ говорить стеснялся, это тебе не аэродромное раздолье. Через тонкую дверную филенку отчетливо слышались цокающие удары металла о стекло, а когда включалось надсадное жужжание бормашины, ожидающие начинали опасливо переглядываться. Порой раздавался мелодичный голос Александры Ивановны, а следом мычание сидящего в кресле. Чаще всего пациент не совсем чисто выговаривал букву "ы"...

Серпуховцы отделались довольно быстро и, кажется, без существенных осложнений. Наступала очередь Валерия. Не утверждаю, коридорчик был действительно темноват, но лицо друга представилось мне несколько бледнее обычного. Побледнел

даже его крупный банановидный нос.

Наконец распахнулась дверь, и в пролете предстала Александра Ивановна. Она сделала рукой широкий жест, приветствуя очередною пациента своей смешливо-участливой улыбкой:

- Добро пожаловать!

Валерия она манежила довольно долго. Я насчитал три крупных захода этой клятой зуботрясной машины и четыре раза выдавленную глухим голосом букву "ы". А затем из канцелярии прибежала дежурная медсестра, и они с Александрой Ивановной поспешно вышли, захватив с собой какой-то толстый растрепанный журнал.

Спустя минуту дверь отворилась вторично, и из кабинета не спеша вышел Валерий.

- Все? - сочувственно спросил я.

Он кивнул головой, шутливо закатил глаза и растворился в полусумраке коридора. Я даже не успел его толком ни о чем расспросить.

А затем начали происходить вовсе уж странные события. Еще издали послышалось знакомое постукивание каблучков Александры Ивановны, которая вскоре возвратилась и прошла в кабинет. Я решил, что наступила моя очередь идти на муку, и подошел к двери. Но приглашения не последовало. Последовало другое.

Александра Ивановна выглянула из дверей и самым тщательным образом оглядела коридор. На ее лице отражались самые разнообразные эмоции - от глубочайшего изумлении до совершенно откровенной ярости.

Нечасто приходится наблюдать, как бушует очень красивая женщина. Наверно, большинство из них пытаются на людях скрыть свой гнев, чтобы не снизить эффекта от своей внешности. Но Александра Ивановна не относилась к числу кокеток. Она всегда была непосредственна и откровенна. На этот раз она и на меня маленько плеснула из чаши своего гнева:

- Так!.. Значит, этот скромник таки сбежал? Этот ваш кавказский барашек! Струсил, как последняя баба! А еще летчик называется! То-то я заметила, как он на машинку поглядывает! Я ведь всех вас насквозь вижу! Только на минутку отлучилась, а он поминай как звали! Видел бы сам, какое у него в зубе дупло! Пещера Лейхтвейса! А я уже все подготовила. Надо же! Прямо с кресла человека упустила!.. Все едино я его достигну! С полетов, негодяя, сниму! Всю жизнь помнить будет! - вдруг чуть не завизжала она. Слушайте, и вы, может, из такой же породы? - обратилась она ко мне. Скажите этому королю воздуха, этому

юному шашлычнику, чтобы в следующий четверг был здесь как штык! Господи, я ведь уже все-все подготовила! Осталось чуть-чуть посверлить!

"Чуть-чуть - отметил я про себя. - Знаем мы эти ваши "чуть-чуть"!"

А потом вдруг Александра Ивановна звонко расхохоталась, и я понял, что вот ее-то зубы могли послужить рекламой для любой парфюмерной фирмы. Впрочем, и во всем своем великолепном гневе она не утеряла ни капли женской прелести.

На другой день на ходу при встрече Валерий коротко пояснил:

- Знаю, знаю, о чем ты!.. Понимаешь, как ее вызвали, остался я один, и сразу у меня зуб прошел. Этот сработал... психологический фактор. Я слышал, такое бывает. Научно совершенно объяснимо...

- Все едино, она тебя настигнет, - улыбнулся я, вспомнив гневную реплику Александры Ивановны. - Она, брат, с тебя теперь нипочем не слезет. Не из таких! Обязательно ступай в четверг, ждет. Говорила она, у тебя в зубе пещера Лейхтвейса.

- Конечно, судьбы не миновать, - вздохнул он, - А пещера Лейхтвейса это здорово сказано!.. Ну, я пошел!..

Вскоре мне пришлось на несколько дней выехать в Ленинград. Командировка оказалась неинтересной, и я был рад поскорее возвратиться. Поезд приходил на Октябрьский вокзал вечером. Пройдя застекленный перрон, я вышел на оживленную вокзальную площадь и купил у размахивающего пачкой свежих газет мальца номер "Вечерки". Подойдя ближе к фонарю и не спеша развернув газету, я долго не мог понять, о чем идет речь? Я был настолько ошеломлен, что до сознания сразу и не дошло жирно набранное короткое сообщение: "Катастрофа на аэродроме. Гибель летчика тов. Филиппова и наблюдателя тов. Михайлова".

...Дальнейшие события зафиксировались памятью как-то смутно, бессвязно, словно дурной сон. Траурный митинг на Коммунистической площадке Ваганьковского кладбища. Поблескивающие на апрельском солнце трубы оркестра. Мелодия шопеновского марша, время от времени взмывающая над толпой провожающих. Жидкая дорожная слякоть и рыжий песчаный отвал перед большой, широкой могилой. Сменяющиеся, как на кинопленке, лица выступающих. Черный как тот зыковский цыган, Горшков, бывший начальник одного из аэродромов. Расстроенный и даже не очень владеющий собой молодой конструктор Поликарпов. Летчик Бабушкин. Много других пилотов - известных и рядовых. Родные в глубоком трауре. Где-то позади среди публики откровенно не скрывающая слез

Александра Ивановна. Два гроба в одной могиле - пилот Филиппов, наблюдатель Михайлов. Филиппов, как широко писали об этом газеты, - один из лучших летчиков Советского Союза, признанный мастер высшего пилотажа. Михайлов - и о нем тоже тепло писали... Но что мне теперь до всех этих некрологов?..

И как венец трагедии - желтый, тускло поблескивающий пропеллер на могильном холмике.

А потом мы возвращались на аэродром через узкую шумную Пресню. Рядом со мной молчаливо вышагивал Николай Сергеевич Куликов, серьезный, уже в годах человек в пенсне, которое он сегодня особенно часто снимал и протирал клетчатым носовым платком. Это был очень знающий, квалифицированный инженер, сам много летавший и прекрасно разбиравшийся в сложных технических ситуациях. Он был начальником хронометража Центрального аэродрома. Теперь его включили в комиссию по выяснению причин катастрофы.

Несколько суховатый на вид Николай Сергеевич не был многословен, и я удивился, когда, приблизившись, он слегка кашлянул, что, видимо, означало желание начать разговор.

- Вы ведь, кажется, были близки с Михайловым? - глуховато спросил он, смотря в сторону.

- Очень, - подтвердил я. - Для меня это тяжелая утрата.

- Я хотел вам только передать... Разумеется, между нами: ведь выводы комиссии обычно засекречиваются. Машина опытная, новая. Так вот, какой же оказался мужественный человек, наш Валерий! И подтвердил это, так сказать, своей смертью. Нет, это вовсе не красивые слова, которые часто принято говорить над свежей могилой... Знаете, мне пришлось держать в руках листочек его записей. Тех, в воздухе. По счастью, они сохранились. Испытание было на километр, что это такое, вам подробно объяснять не приходится. Скорость у машины максимальная, высота небольшая. Так вот, свой последний отсчет парень записал, когда не мог уже не понимать неизбежности катастрофы. Я подчеркиваю - не мог не понимать! А отсчет все-таки зафиксировал и разбился после этого в считанные секунды. Каким же высоким чувством долга обладал этот скромнейший из героев!

Действительно, как сказал один из членов нашей комиссии, Михайлов для авиации выложился до конца. Быть может, Николай Сергеевич и сам без особой охоты употребил это далеко не лучшее словцо - - "выложился". Но ведь оно с предельной ясностью объясняло многое, чего, может быть, недоглядели в Валерии некоторые из нас. И передо мной до боли отчетливо

возник последний короткий разговор с моим задушевным другом, верным товарищем, достойным комсомольцем, человеком, беззаветно преданным любимому делу, - Валерием Михайловым, его невольно пророческая фраза: "Конечно, судьбы не миновать", его шутливая манера закатывать под лоб желтоватые белки глаз, и я еще острее почувствовал свою утрату.

Шрам над левой бровью

Одними из первых военных самолетов, запущенных в серийное производство в начале двадцатых годов, были "юнкерсы".

Эти передовые для своего времени машины изготовлялись на заводе под Москвой, неподалеку от деревушки, где когда-то держал знаменитый военный совет фельдмаршал Кутузов.

Завод производил машины двух типов, принятых на вооружение в наших воздушных силах: сухопутный разведчик Ю-21 - моноплан с мотором БМВ в 185 лошадиных сил - и пассажирский самолет Ю-13, комфортабельный по тому времени.

Это были машины целиком металлические, из гофрированного дюралюминия, быстроходные, с достаточно высоким потолком и хорошей маневренностью.

На заводе в большинстве работали немецкие специалисты: конструкторы, инженеры, техники, администраторы, а также много квалифицированных немецких рабочих.

С точки зрения советского человека, это было удивительное предприятие некий капиталистический островок в стране, покончившей с эксплуатацией. В цехах царила палочная дисциплина, то и дело слышались ефрейторские окрики мастеров.

Некоторое время я был связан с этим заводом как один из представителей наших воздушных сил.

Завод имел свою летно-испытательную станцию, укомплектованную германскими пилотами высокого класса.

Из них мне особенно запомнился летчик по фамилии Лакмак.

Лакмак помимо своих качеств боевого пилота был известным планеристом.

Он имел внешность лощеного моложавого щеголя, носил очень высокие крахмальные воротнички, еще более удлинявшие его тощую гусиную шею, и не снимал их даже в полете. Это был гладко причесанный белесый блондин с водянистыми бледно-голубыми глазами, неизменно вежливый и корректный. Правда, в отличие от многих своих земляков, уже обиходно применявших быстро набиравшее силу слово "камрад", я что-то ни разу не слышал от него этого дружеского обращения.

Объяснялись мы с Лакмаком различными способами. Я

мучительно пытался восстановить в памяти осколочные знания, оставшиеся от гимназических уроков немецкого языка. Видимо, нечто похожее происходило и с моим партнером. Остальное дорабатывали мимика и жестикуляция. В ход шли пальцы, выражение лица, гримасы, улыбки. В общем-то, мы достигали желаемого, после чего оба искренне хохотали.

Над левой бровью Лакмака выделялся белый шрам странной месяцеобразной формы. У меня так и чесался язык растолковать ему значение русской пословицы "Бог шельму метит". Но на это не хватало лингвистических познаний, да и получилось бы, пожалуй, бестактно... Обидится еще! Скорее всего, это была замета фехтовальной рапиры. Фехтованием тогда увлекались многие немецкие студенты - "бурши", особенно из Восточной Пруссии, откуда родом был и сам Лакмак.

В конце концов у нас возникли достаточно добрые отношения, тем более что мы были тесно связаны по работе. Нам часто приходилось летать вместе.

Но вот удивительно! Несмотря на располагающую внешность Лакмака, его чрезвычайно предупредительное и внимательное отношение, меня никогда не покидало чувство какой-то настороженности по отношению к этому человеку. Порой я улавливал в его взгляде быстро мелькавший и тут же исчезающий холодок, какую-то надменность, которую поначалу относил к сознанию им собственного превосходства. Но ведь он был действительно превосходным пилотом! И еще меня коробило его отношение к Тейхену, кряжистому краснолицему механику: очень уж часто слышались в разговорах с ним совершенно хамские нотки, хотя Тейхен по возрасту вполне годился Лакмаку в отцы. И голос пилота становился в таких случаях другим - отрывистым, лающим.

Моя работа не ограничивалась регламентированным временем. Все зависело от сложившихся обстоятельств: степени подготовки машины к полету, какого -нибудь заводского аврала, неожиданного Появления начальства - нашего или немецкого, погоды, в конце концов. Дома телефона у меня не было, и в случае необходимости за мной могли приехать хоть среди ночи.

И в тот раз посланцы прибыли совсем неожиданно. Я уже посчитал свой рабочий день оконченным, только-только вернулся с аэродрома, перекусил, собираясь к друзьям, переоделся в штатский костюм и с особым удовольствием обулся в новенькие, модного фасона туфли "Джимми" - желтые, остроносые, чуть ли не с дюймовым рантом. Совсем недавно я приобрел их у знаменитого в Москве кимряка Шмелева, открывшего на Тверской шикарный обувной магазин. Это были очень эффектные,

прекрасно сшитые туфли.

Несмотря на конец дня, на аэродроме оказалось много народу. Из Германии только что прилетел какой-то известный конструктор, он же - один из директоров фирмы "Юнкерс". Экспромтом создали нечто вроде смешанной комиссии из наших и, немцев. Предстояла демонстрация некоторых фигур высшего пилотажа.

Я не успел даже переодеться в форму. Да мне, собственно, и не дали, очень уж торопили: "Все равно в комбинезоне полетишь. Кто там будет тебя рассматривать?"

Постепенно угасал золотой августовский день, стояла прекрасная, почти штилевая погода, и была отличная видимость. Над столицей воздух был совершенно прозрачен.

Это был наш четырнадцатый совместный полет с Лакмаком на самолете Ю-21. Ко мне как к постоянному наблюдателю уже применились, в кабине лежала пудовая гирька, аккуратно упакованная в чехол из-под самолетного пропеллера: дело в том, что я не дотягивал до положенной весовой нормы в шестьдесят килограммов, и поэтому дополнительный груз неизменно сопровождал меня в испытательных полетах.

Весил я всего сорок восемь килограммов при сравнительно высоком росте. Знакомые ребята с расположенных поблизости бегов не раз пытались переманить меня на жокейскую работу, соблазняя посулами красивой жизни. В их кругах такое сочетание роста и веса считалось выгодным. Но я не искал выгоды.

На аэродроме уже ожидала большая группа начальства, и, судя по знакам различия, начальства солидного. Среди них я распознал крупную фигуру заместителя начальника воздушного флота Меженинова с четырьмя ромбами на рукаве. Встречалось много немцев, явно принарядившихся по случаю приезда одного из высокопоставленных патронов.

В общем, я прибыл в самое время. Лакмак стоял около машины и кивнул мне как старому знакомому.

Опять пришлось напрягать свою скудную память. Опять пошли в ход и жесты и мимика. Под конец объяснений Лакмак показал пальцами какую-то завитушку. Я сообразил - мертвая петля Нестерова.

- Люпинг? - для верности переспросил я... Мотор работал еще на малых.

Лакмак согласно закивал головой, подпертой неизменным высоким воротничком, и заговорщицки улыбнулся.

Мы быстро заняли места в самолете.

Между тем комиссия приблизилась и вскоре окружила машину. Пришлось наполовину высунуться из кабины и пожимать

протянутые руки. Первое крепкое пожатие Меженинова, второе - Хорькова, начальника штаба воздушных сил. Я подмигнул кое-кому из знакомых ребят, вкрапившихся между высокой публикой. Совсем близко к самолету стоял Тейхен, не спускавший с Лакмака настороженных глаз. А тот, казалось, вовсе не замечал своего механика.

Что касается меня, я был готов. Приборная доска в порядке, слегка вибрируют стрелки приборов. Барограф включен. Бланк для хронометрирования аккуратно разграфлен цветными чернилами. Ремни... Вот черт возьми, опять передо мной летал какой-то толстяк! Пива, что ли, он надулся?.. Надо бы подтянуть маленько, но уже некогда. Ладно, авось не выпаду! Словом, все хорошо!

Уже не оглядываясь, Лакмак поднял левую руку - это был сигнал для меня. Мотор заработал на полных...

Итак, знакомая излучина Москвы-реки, старый, десятки раз перевиданный с воздуха пейзаж, но почему-то всегда теплотой отдающийся в сердце. Настроение превосходное. Передо мной узкая полоска красной лакмакской шеи между воротничком и кромкой летного шлема (отличный у Лакмака шлем, с каким вожделением я всегда поглядывал на него!). Барограф уже отчертил порядочный отрезок подъема, пока мы добирались до положенной высоты. Между прочим, прибор сегодня опломбирован, значит, испытание особо ответственное. Мотор работает ритмично, четко, словно успокаивая: "Все в порядке! Все в порядке!" Да и как, собственно, может быть иначе? Такая машина! Скорость двести сорок! Не каждый разведчик столько выдаст. Пулемет на турели новенький, только что со склада. И все вокруг начищено, надраено, наглажено. Это уж забота хлопотливого Тейхена.

Высота тысяча триста. Сейчас он должен начинать. Думаю, мы оба волнуемся, понимая, что с земли наблюдает ответственная комиссия. Не ударить бы в грязь лицом! Пилот закладывает правый вираж, и земля встает в глазах дыбом. Закладывает такой же левый. Разгоняет машину по прямой и делает "горку". Пикирует так, что становится чуть жутко, но весело. Скользит вниз на крыле. Ветер так и хлещет в щеку, лезет под шлем, под плотно прижатые очки. Самолет опять набирает высоту. Я только успеваю щелкать секундомером и записывать отсчеты. Барограмма вся испещрена какими-то синусоидами.

А потом Лакмак поворачивается в профиль, и по движению губ я узнаю, как он произносит:

- Люпинг!

...Ну что же, люпинг так люпинг! Я уже испытал это

ощущение. Правда, на другой машине и с другим пилотом - Василием Васильевичем Карповым. Вот это был ас! Какая-то доля секунды! Едва успеваешь увидеть "второй горизонт". Тут я еще раз вспоминаю про ослабленные привязные ремни, а заодно и карповскую реплику:

- При правильно сделанной петле тебя никакими силами не выковырнешь из кабины. Так и вдавит в сиденье, словно приклеит!

Очень здорово сказано! Не выковырнешь. Ну ладно! Бог, как говорится, не выдаст, свинья не съест. Значит, сейчас она самая. Нестеровская!

Еще раз репетирую в уме, как это должно произойти.

И вот Лакмак опять дает мотору полные обороты, разгоняя машину. Затем начинает круто набирать высоту, пытаясь поставить "юнкерс" в перпендикулярное положение. Видимо, ручка выбрана на себя до отказа. Еще мгновение - и покажется "второй горизонт", скорость упадет, самолет перевалится через нос и мягко выйдет из петли.

Но!..

Именно в тот кратчайший миг, когда машина стояла почти отвесно по отношению к земле, произошла какая-то чертовщина. Мотор неожиданно захлебнулся и смолк. Мы закачались в воздухе. Вперед-назад. Туда-сюда. Сто восемьдесят пять лошадиных сил словно парализовало. Наконец машина оказалась брюхом вверх, и какое-то время наш полет продолжался в перевернутом положении.

Последнее, что я успел увидеть в этом несколько необычном ракурсе, были мои собственные ноги в элегантных шмелевских "Джимми". Я судорожно уцепился за турель. Добавочный груз глухо стукнул по стенке кабины и ушел вниз...

Очнулся я в тишине, когда на альтиметре было около восьмисот метров. Мотор не работал. Пилот вел "юнкерс", как планер, и, надо сказать, вел безукоризненно. Он дважды оборачивался, как бы проверяя мое самочувствие, но я не нашел в его взгляде никаких следов участия. Скорее, это было что-то очень близкое к брезгливости. "Чего это он так?" - мелькнуло у меня. Но летчик быстро погасил это мимолетное впечатление обычной предупредительной улыбкой. "В конце концов, он на десяток лет старше, - подумал я. - И разве я струсил?.. Записи тоже все в порядке... Но что же все-таки произошло?"

Пока я так размышлял, Лакмак аккуратнейшим образом посадил машину на три точки. К нам уже торопились. Опередил всех, конечно, Тейхен, и пожалуй что зря. Перемежая русско-немецкие проклятия, пилот обрушил на беднягу такой поток

сквернословия, которого никак нельзя было ожидать от этого внешне прекрасно воспитанного человека.

Причиной неполадки в моторе, как выяснилось, была бензиновая помпа, отказавшая, словно назло, в кратчайший ответственный момент. Случай - один из тысячи, как выразился кто-то из специалистов.

Все было быстро устранено, и вскоре мы опять оказались в воздухе. Мне подложили в кабину новую гирьку. Программа полета была полностью выполнена.

Окончательная приемка машины состоялась уже зимой. За мной и на этот раз приехали неожиданно, но уже кто-то из немцев. По окончании испытаний я на фигурно изогнутых санках, запряженных призовым рысаком, был доставлен в заводскую столовую, где состоялся шумный, блестящий банкет. На этом празднестве Лакмак оказался одной из центральных фигур, принимавших многочисленные поздравления. В первый раз в жизни я пил какой-то сверхъестественный, обжигающий рот ликер, пахнущий, как помнится, мятой. Под конец торжества я закурил гигантскую черную сигару, которой по неопытности начал затягиваться, как Хорошевский ломовой извозчик. Наверно, это доконало меня, и поэтому конец торжества затерялся в тумане...

Прошло много лет. Отгремела Великая Отечественная. Воспоминания в юношеских приключениях были потеснены иными грандиозными событиями.

Я работал над подписями к альбому одного из советских фотографов, с которым был довольно коротко знаком. Альбом издавался в "Планете" издательстве сугубо фотографическом, и мне пришлось иметь дело буквально с Гималаями фотографий, отснятых этим всюду поспевавшим фоторепортером. Его фототека напоминала, скорее всего, архив немалого учреждения, готовящегося к переезду.

Подавляющее количество фотографий оказались фронтовыми.

Поначалу у меня просто разбежались глаза при виде таких драгоценных россыпей, особенно когда они грудой заполнили большой обеденный стол.

И вдруг в этом фотографическом винегрете взгляд задержался на одном из снимков. Чье-то странно знакомое лицо зарницей вспыхнуло в памяти.

На снимке была изображена группа военных в летной фашистской форме. Их лица выражали чувства самые непосредственные: у кого растерянность, у кого страх, у кого неприкрытая злоба.

- Любопытный снимок, - сказал я автору. - Где это?

- Под Гатчиной, - крякнул он прокуренным баском, скользнув по фотографии своими толстыми окулярами. - В начале сорок второго. Наши "юнкерс" сбили. Восемьдесят восьмой. Весь экипаж эсэсовский. Госпиталь, мерзавцы, злоумышляли бомбить. Только не получилось. А вот этот, второй с краю, бинты, помнится, с себя рвал, когда его перевязывали. От ярости, что ли? Должно быть, какой-то махровый.

- Подожди! - перебил я фотокорреспондента. - А ну глянь, что за отметина у него на лбу? Похоже - шрам. Или, может, это дефект снимка?

- Дефективно не работаем, - с некоторой обидой за свою "фирму" отозвался он. - Впрочем, давай проверю. Действительно шрам, - откладывая в сторону лупу и возвращая мне фотографию, подтвердил он. - А что тебя, собственно, интересует?

- Интересует... - отвечал я, постепенно узнавая в этом уже обрюзгшем, надменном, искаженном бессильной злобой лице знакомца своих юных лет.

Жертва аэродинамики

Оборудование современных воздушных лайнеров, где приборы автоматики исчисляются десятками, а функции пилота во многом подменяют ЭВМ, не может идти в сравнение с той скромной оснасткой, которой мы пользовались полвека назад.

Что размещалось на приборной доске самолета? Самое насущное: указатель скорости, указатель высоты, счетчик оборотов мотора, два манометра, термометр, креномер.

Иногда устанавливался компас, а если предстояло ответственное испытание - барограф, вычерчивающий зубчатую диаграмму полета на глянцевитом сетчатом бланке.

Но даже и это примитивное оборудование являлось подчас остродефицитным.

В середине двадцатых годов в стране начали возникать заводы и мастерские по изготовлению и ремонту авиационных приборов.

Одним из таких предприятий в Москве был завод "Авиаприбор". На этом заводе мне довелось работать техническим приемщиком.

Завод был небольшой, тесный, с изношенным оборудованием и не был бы ничем примечателен, если бы не трудилось на нем целое созвездие умельцев, должно быть потомков бессмертного Левши. Квалификация рабочих на "Авиаприборе" была весьма высокой.

Заводские лаборатории, где производилась приемка авиаприборов, не располагали специальным оборудованием. Так,

например, при температурных испытаниях мы просто закладывали приборы в деревянные чаны вместе со льдом, перемешанным с солью.

Иногда использовалась жидкая углекислота, доставляемая на завод в стальных баллонах, она еще больше снижала температуру.

И тогда корпуса приборов покрывались нежным пушком инея, словно в морозильной камере нынешнего холодильника, которых тогда не было и в помине.

Во время этих испытаний надо было надевать перчатки, чтобы не приморозить пальцы. Но мы открыли и другое свойство глубокого холода: длительное прикосновение к замороженным предметам ликвидировало... самые застарелые бородавки, которыми почему-то многие тогда страдали.

Мы проверяли приборы и после того, как на их шкалы и циферблаты наносилась фосфоресцирующая масса. Для приемки такие приборы раскладывались на стеллажах, в комнате с занавешенными окнами.

Мне нравилось бывать в этой комнате, где отовсюду исходило таинственное зеленоватое свечение. Это напоминало сказочный сад, где цветут диковинные цветы.

Но долго в комнате оставаться не рекомендовалось: излучение было опасным для здоровья.

Проводились испытания на атмосферное давление. Так проверялись указатели высоты - альтиметры и их детали. Испытание проводилось под воздушным колоколом, куда воздух нагнетался или откачивался при помощи ручного насоса, напоминавшего парикмахерский пульверизатор.

В одной из лабораторий наполняли компасы спиртом. Работа была до элементарности проста: испытатель опускал конец резинового шланга в сосуд, наполненный спиртом, и, отсосав порцию воздуха из другого конца, быстро опускал его в отверстие компаса. Так часто поступают шоферы при заливке бензина. Но водитель, как известно, не допустит, чтобы жидкость попала ему в рот. С заливщиками компасов случалось и обратное.

Когда в чаше прибора исчезал последний воздушный пузырек, компас крепко завинчивался, и приемщик опломбировывал его специальными щипцами.

Конечно, все эти испытания позволяли только приближенно установить работу приборов в условиях полета.

Завод остро нуждался в испытательной аппаратуре, опытных стендах и самых различных установках. В первую очередь требовалась аэродинамическая труба, чтобы проверять продукцию в скоростных потоках воздуха.

Трубу начали строить в деревообделочном цехе. Она была длинная, громоздкая, заканчивавшаяся глухой фанерной камерой наподобие большой собачьей будки. Оборудование для нее еще не изготовили, и поэтому сооружение временно поместили во дворе, в одном из пустовавших кирпичных сараев.

Мое рабочее место не ограничивалось только лабораториями, приходилось много ходить по цехам, вникать в тонкости производства, завязывать разнообразные знакомства. Ребята часто расспрашивали об авиационной жизни, и я, как мог, старался удовлетворить их любопытство.

На заводе я как-то встретился, совсем того не ожидая, со старым знакомым по аэродрому - Димкой Шуточкиным.

Это был долговязый дядька, одетый с претензией на фатовство в клетчатый волосатый пиджак и такие же брюки гольф. У него были слезящиеся, однако очень внимательные, щупающие глазки и самоуверенный актерский басок. При ходьбе Шуточкин имел привычку раскачиваться из стороны в сторону, словно извиваясь, очень напоминая при этом крупную змееобразную рыбу наподобие мурены или угря.

Кто его знает, может быть, Димка обладал какими-нибудь гипнотическими свойствами? Ему, к примеру, ничего не стоило обменять латунную зажигалку на пару новых американских ботинок да еще уверить партнера в привалившем тому счастье. И спорить с ним оказывалось бесполезно, он своим убаюкивающим голосом всегда умел повернуть дело так, что собеседник вскоре растерянно замолкал и даже сам начинал ощущать некоторый конфуз от своих доводов.

На аэродроме про него так и говорили:

- Прошел огонь, воду, а медные трубы украл...

Шуточкин обрадовался мне, как родному брату, чему я был несказанно удивлен, так как никогда в приятельских отношениях с ним не находился.

До завода Димка работал вольнонаемным мотористом в одной из авиачастей, расположенных на Ходынке. Работник он был, бесспорно, знающий, умел быстро разобраться в неполадках мотора. Смекал и по части приборов. Он был прикреплен к машине одного из молодых пилотов и долгое время содержал ее в полном порядке.

Но главная беда заключалась в том, что Шуточкин относился к той страшнейшей категории тихих пьяниц, чье состояние внешне установить очень трудно. Я, правда, иногда замечал, что в случае перебора у него начинали краснеть веки. Но мало ли по какой причине они могут покраснеть? От него никогда не пахло спиртным, он не шатался, не скандалил и, сильно выпив,

старался незаметно смотаться в укромное местечко.

Конечно, никто из нас не был святым по части горячительного. Бывало даже, в летном пайке вместе с мясом, сухофруктами и шоколадом притащишь от каптера легальную бутылку спирта. И какой же летун не поделится ее содержимым со своим верным технарем?

Но, как говорится, пей, да дело разумей!

Шуточкин разумел, видимо, не всегда. Все прохладнее становилось его отношение к своим обязанностям. Однажды на его самолете оказался незаконтренным краник бензинопровода, и дело чуть не кончилось аварией. Во второй раз получилось вовсе худо: он выпустил машину, не подтянув как следует тягу руля высоты. В результате "Ньюпор" рухнул, едва успев взлететь. Еще хорошо, пилот не растерялся, вовремя выключил мотор и этим спас себе жизнь.

И все же у парня оказались переломанными обе ноги.

Такой явной небрежности наши мотористы еще не допускали. Причину аварии ребята очень скоро выяснили сами, до начала официального расследования. Под суд Димку, правда, не отдали, это было как-то не в духе аэродромной этики. Ему предоставили выкручиваться самому, без свидетелей, что он, как и всегда, завершил успешно. Однако репутация его оказалась подмоченной. Налицо была прямая измена неписаным авиационным традициям, подразумевавшим абсолютное взаимное доверие между пилотом и механиком. Летчики стали отказываться от услуг Шуточкина, мотористы - сторониться его при встрече. Получалось уже нечто вроде бойкота.

Шуточкину пришлось расстаться с аэродромом и подыскивать себе другое место.

А в Москве была безработица. В Рахмановском переулке около здания биржи труда с утра до вечера гомонила разношерстная человеческая толпа.

Оттуда и появился на "Авиаприборе" Шуточкин - механик высокой квалификации.

Бесспорно, это был недосмотр технорука завода Кауфмана, любившего приезжать на биржу труда и лично вербовать для себя кадры.

На этот раз он доверился чисто формальным признакам, не поинтересовавшись подробнее моральными качествами своего избранника, умевшего весьма убедительно вести беседу, особенно при первом знакомстве.

Вскоре технорука пришлось раскаяться в своем досадном недосмотре.

Кауфман был низенький полный брюнет, очень подвижный,

веселый, с лунообразным лицом и темными, аккуратно подстриженными усиками, похожими на часовые стрелки.

Как бы в противоположность этой жизнерадостной фигуре старшим техприемщиком воздушных сил на заводе был некто Ахматович - выходец из Польши, бывший интендант царской армии, желчный субъект, редчайший придира и формалист.

Ахматович до страсти любил всяческие конфликты с заводом, которые возбуждал по малейшему пустяку. Мне даже казалось, что, не будь этих неприятностей, он посчитал бы свою жизнь неполноценной. Он писал в управление снабжения воздушных сил бесчисленные рапорты и заставлял меня править и редактировать их, так как сам был не очень силен как в стилистике, так и в орфографии.

В любую погоду он ходил в шинели, перепоясанной портупеей, и с неизменным наганом в кобуре, который он называл пистолей.

Приближался конец месяца, и, как уж это всегда полагается, в цехах чувствовалось напряжение. Бегали озабоченные мастера. Рабочие не отрывая глаз наблюдали за станками, гнули спины за сборочными столами. Лаборатории то и дело пополнялись партиями приборов, предъявляемых к приемке. Народ стремился во что бы то ни стало вытянуть месячный план.

Поэтому я был удивлен, когда меня неожиданно вызвали к технору́ку. Обычно Ахматович никого из своих подчиненных до разговоров с администрацией завода не допускал, ревниво оберегая прерогативу абсолютного единоначалия.

На этот раз в кабинете технорука кроме Кауфмана и Ахматовича присутствовал заведующий одной из испытательных лабораторий Финогенов скромный, молчаливый человек. Бедняга когда-то перенес волчанку, и теперь в минуты волнения его лицо покрывалось красными пятнами. На этот раз по их густоте и яркости я определил, что человек чем-то очень расстроен. Между прочим, Финогенов отвечал за расход спирта, выделяемого заводу для различных экспериментов.

Как я понял из довольно шумного разговора, в партии компасов, предъявленных к приемке, два оказались с пониженной крепостью спирта. Ахматович требовал перепроверить всю партию.

- Я обязан верить не вам, а ареометру Боме, - дребезжал он. - У вас вечно спирт разбавляют. Распущенность полнейшая! Я бы на месте расстреливал за такие преступления!

И он многозначительно подтянул свою пистолю.

- Стрелец какой нашелся! - пытался ослабить нападение Кауфман. - С кем не случается?.. Ах, вы не пьете? - он

сострадательно улыбнулся. - Но вы отдаете себе отчет, что означает всю партию заново проверить?.. Ну хорошо, давайте этого мильтижена вместе допросим. С пристрастием!

- Вызвать ко мне негодяя! - заорал он вошедшей секретарше. Немедленно! Кто его до заливки допустил?! Сейчас я со всех вас стружку сниму!

И он алчно посмотрел на круглую печать техприемки в плоской металлической коробочке, которую Ахматович, словно дразня, вертел между пальцами. Оставалось так немного - перештамповать этой печатью пачку аттестатов на приборы, лежащую на столе, и все бы встало на свое место и зарплата рабочим была бы полностью обеспечена.

Немного спустя секретарша возвратилась в кабинет:

- Николай Георгиевич! Шуточкина нигде нет. Пожарники весь завод обыскали. Сама в проходную бегала. Нет, с производства не выходил... Да, вот еще что!..

Она наклонилась к технорука и что-то прошептала ему на ухо.

После этой таинственной реплики Кауфман только всплеснул короткими руками и многозначительно поглядел в сторону Финогенова, зардевшегося еще больше.

На сей раз "высокие договаривающиеся стороны" к соглашению так и не пришли. Ахматович отправился звонить по телефону в управление воздушных сил. Кауфман никак не мог добиться управляющего трестом.

Как оказалось, Димка был уличен на месте преступления в самый ответственный момент, когда, "вызывая огонь на себя", всосал через шланг добрую порцию горючего, но не рассчитал, поперхнулся и раскашлялся чуть не до рвоты. Пьянчугу немедленно отставили от заливки, проверив уже наполненные им компасы. По счастью, их оказалось не так много. Вскоре Шуточкин исчез. Увы, одновременно исчезла и пятилитровая бутыль со спиртом. Как на грех, спирта и у кладовщика больше не оказалось. Теперь Димка подводил уже весь коллектив цеха. Над месячной премией нависла угроза.

На заводе было много уголков, чтобы укрыться. Но на этот раз поиски пропавшего отличались особенной тщательностью. Обшарили все, до последнего закоулка. Вахтер клялся страшной клятвой, что нарушитель с завода выйти не мог. Это подтверждалось и отсутствием жетона на табельной доске.

Партию компасов пришлось-таки перепроверить. Это была нудная и канительная работа. Все они, наполненные до Шуточкина заводским ветераном Иваном Кузьмичом, оказались в порядке. Кузьмич не посрамил рабочей чести. Но время было

упущено, и в месячный план продукцию не засчитали. Ахматович торжествовал. Кауфман нервно пощипывал свои ухоженные усики.

Не появился Шуточкин и на другой день. На заводе встревожились. Из завкома еще с утра поехали к нему на квартиру, беседовали с женой. Супруга, которой не в диковинку показалось это исчезновение, реагировала на визит довольно равнодушно.

- Приползет! - сказала она. - Никуда не денется. На бровях, а приползет.

Но дальше события повернулись неожиданным образом...

Маруся Сергеева, пригожая, черноглазая тарировщица манометров, возвращалась с обеденного перерыва к себе в лабораторию. Всегда внимательная к своей внешности, девушка завернула по дороге в сарай, где пылились детали аэродинамической трубы, и в этом безлюдье решила привести себя в должный порядок.

Она сняла с головы красную косынку, вытащила из кармана осколок зеркальца, коробочку с пудрой и совсем было расположилась заняться нехитрой косметикой, как вдруг, отчаянно взвизгнув, шарахнулась в сторону и выскочила из помещения: внутри кабинки что-то сильно заскреблось и застучало.

Прибежав в лабораторию, она, задыхаясь, рассказала об этом случае своим товаркам. Народ давно поговаривал о какой-то огромной седой крысе, за которой вот уже месяц бесплодно охотились заводские пожарники, дополнительно отягощенные этим ответственным поручением.

Через полчаса по заводскому беспроволочному телеграфу случай с Марусей достиг бдительных ушей технорука. Кауфман шариком прокатился по заводскому двору в направлении кирпичного сарая, а через десять минут вокруг уже гудел заинтригованный народ.

То, что Шуточкин оказался в кабинке трубы, сомнений не вызывало. Вызывало удивление другое: как через ее горловину мог протиснуться взрослый мужчина? Диаметр отверстия не достигал и тридцати сантиметров. Впрочем, оценив змееобразный облик героя и его пластические движения при походке, пришли к заключению: этот может!

- Трезвый нипочем не пролез бы! - уточняли понимающие. - Это точно! Выпивши - совсем другой коленкор!..

Затем начались переговоры. Кауфману принесли из красного уголка большой картонный рупор, при помощи которого массовики завлекают экскурсантов на очередное мероприятие.

Через этот инструмент и происходило общение с внешней стороны.

С внутренней поначалу слышалось только отдаленное мычание.

- Найдите, черт возьми, кого-нибудь из мальчишек! - неистовствовал технорук. - Не могу же я из-за этого сукиного сына трубу ломать! Мы и так в нее три тысячи вложили! Кому я говорю, а ну, мигом!

Один из вахтеров вскоре привел "бронеподростка" Семку, как шутливо называли тогда ребят, направляемых на производство по молодежной разнарядке.

Семка оказался вполне подходящим для данного случая: щуплый, бойкий, смышленый, он так и рвался совершить поскорее любой героический поступок.

Мальчонка юркнул в отверстие трубы, только пятки сверкнули. Теперь в кабинке завозились явственнее. Окружающие примолкли. Наконец посланец возвратился. Запыхавшийся, он долго ловил воздух полураскрытым ртом.

- Дяденька! - приняв эту несколько необычную в заводской обстановке форму обращения, обратился он к Кауфману. - Нипочем ему теперь оттуда не вылезти!

- Как не вылезти?! - взвился технорук. - Да я его хоть в расфасованном виде, а достану! Залез - значит, вылезет!

- Не вылезет, - настаивал Семка. - Он ведь когда туда лез - худой был. А сейчас он толстый... Опух он, дяденька!

Десятка два желающих приняли активное участие в операции извлечения Шуточкина из аэродинамической трубы. Прежде всего ему подали команду раздеться до исподнего, после чего Семка доставил в кабинку конец надежной веревки, за которую тот и ухватился. Ребята дружно взяли! Пьянчугу волокли, как щуку, застрявшую в узкой лунке у незадачливого рыболова. По ходу извлечения Димка издавал низкий густой звук, подобно тифону на волжском танкере. Можно себе представить, в каком виде это чудовище предстало перед нашими глазами!

Затем Семка, уже причастный к сомнительной славе Шуточкина, последовательно выгреб из кабинки три литровые бутылки спирта, свежие объедки колбасы зельц и небольшой бумажный пакет с овсом. Шуточкин оказался последователем одного из чеховских героев, почитавшего этот злак лучшим средством для отбития запаха сивухи.

На следующий день злополучная труба была прочно задраена, а сарай заперт на замок. Теперь уже проникнуть внутрь стало вовсе невозможно. Впрочем, скоро привезли заказанное оборудование, и начался его монтаж.

Пьяницу, разумеется, уволили с завода, однако без большой огласки. Тем не менее Ахматович подал по начальству витиеватый рапорт о происшествии.

Я тоже частично пострадал на этом деле, поскольку трижды пришлось проверять редакцию кляузы перед сдачей ее на машинку.

Память об истории с Шуточкиным держалась на заводе довольно долго. Она проникла даже на аэродром, где острые на язык аэродромные мотористы еще раз изменили приросшую к Димке поговорку:

- А, это тот самый, который огонь и воду прошел, а в деревянной трубе застрял!

А веселый толстяк Кауфман окрестил Шуточкина более лаконично: "жертва аэродинамики".

ЧП на мандатной комиссии

Роясь в книжном шкафу, я обнаружил завалившийся за потрепанную подшивку старого "Огонька" пакет из ломкой синей бумаги. В такую бумагу когда-то бакалейные приказчики обертывали куполообразные головы крепчайшего сахара-рафинада.

Довольно неуважительно я потащил пакет, он выскользнул из рук, упал, лопнул, и из его чрева вывалилась груда бумажек.

Я долго елозил по полу, кряхтя и собирая их. Здесь были какие-то копии приказов, справки на все случаи жизни, характеристики, пропуска, протоколы с неизбежными "слушали-постановили", квитанции, расписки... Чего только не было!

Я уже настроился выбросить в корзину всю эту макулатуру, но случайно задержал внимание на одном из листков. Это оказалась:

"Выписка из протокола № 34/36 заседания президиума МОДВФ от 25-го ноября 1924 года.

Присутствовали: ВОРОШИЛОВ, ДУБЕНСКИИ, ПАВЛОВ, НИКУЛИН, АНДРОНОВ.

Слушали

13. О составе мандатной комиссии по комплектованию в авиашколы.

Постановили

13/1. Утвердить мандатную комиссию в составе: Махалова, Заборского и Аболина.

13/2. Поручить тт. Никулину и Дубенскому разработать вопросы по подготовке рабочих к приему в авиашколы".

Я не сразу прочел этот документ. Пришлось прибегнуть даже к лупе. Очень уж выцвел текст, и некоторые слова разбирались с трудом. Но чем блеклее представлялись мне строчки, тем

отчетливее я вспоминал и это заседание в одной из скромных комнаток Петровского пассажа, и его немногочисленных участников.

Но может быть, поначалу следует расшифровать эти уже подзабытые многими литеры - МОДВФ? А ведь это была первая общественная организация, участвовавшая в создании воздушного флота, прародительница нынешнего ДОСААФа. Буквально - это было Московское общество друзей воздушного флота. И лица, присутствовавшие на его заседаниях, являлись зачинателями строительства и развития советских воздушных сил.

О Клименте Ефремовиче написано немало, и мне только хочется подчеркнуть, что он, как и многие кавалеристы, питал к воздушному флоту симпатию, граничащую с нежностью, и при каждом удобном случае пропагандировал и поддерживал его. В силу постоянной занятости Ворошилов не всегда аккуратно посещал заседания президиума. Еще чаще его куда-нибудь срочно вызывали, и он, встав и беспомощно разведя руками, быстро уходил, не досидев до конца.

Но и в те короткие часы, когда Ворошилов появлялся, он словно заражал всех нас неисчерпаемым оптимизмом, бодростью, энергией. С его приходом создавалось приподнятое, праздничное настроение.

Бессменным участником заседаний был Иван Ульянович Павлов - фигура в авиации примечательная. В то время он возглавлял воздушные силы Московского военного округа. Высокий, сероглазый, быстрый, решительный, строгий, он ценил удачную шутку, да и сам не очень стеснялся в выражениях как в устной речи, так и на бумаге. Уж кого-кого, а Павлова не упрекнешь в бюрократизме с присущей этому явлению обкатанностью формулировок. Как сейчас, помню его "резолюцию", определившую дальнейшую судьбу командира одного из авиационных подразделений:

- Барахло! Таких людей надо гнать из воздушного флота!..

Сам Павлов много летал, подавая личный пример подчиненным. Известна была его слабость к фигурам высшего пилотажа, которые он проделывал над центром Москвы на своем любимом истребителе Д-13. Крестьянский сын, солдат империалистической войны, он в составе русского экспедиционного корпуса попал во Францию, окончил там летную школу и стал классным пилотом. За подвиги во время гражданской войны Павлов был награжден тремя орденами Красного Знамени. Не каждый военачальник умел так гармонично сочетать обязанности крупного командира с

повседневной практикой превосходного авиатора.

Но особенно запечатлелся в моей памяти Никулин - секретарь президиума, фактически заправлявший всеми делами Московского общества. Никулин был душой многих ответственных начинаний. Под его руководством был создан в Москве первый авиамузей Красного воздушного флота, организован по городу сбор средств для постройки самолетов. Он всегда присутствовал на заседаниях мандатной комиссии, словно хотел пропустить через себя лично всех до одного кандидатов на эту, по его выражению, "самую высокую профессию". Он положил немало труда на создание журнала МОДВФ с характерным для тех времен названием "Даешь мотор!". Ныне этот журнал представляет библиографическую редкость.

На первый взгляд Никулин казался очень моложавым. Мало кто мог поверить, что перед ним подпольщик, натерпевшийся вдоволь царских репрессий. Голос у него был спокойный, тихий, он никогда не повышал его; был немногословен, и, казалось, ему чужды шумные споры и волнения окружающих. Я не раз замечал, как особенно тепло и дружелюбно обращался к нему Ворошилов. И еще я никогда не видел Никулина смеющимся, а если он и улыбался, то, пожалуй, только где-то в самой глубине чистых, доверчивых, словно голубой акварелью тронутых глаз.

Он был всегда скромно одет, носил темную сатиновую косоворотку, тесноватый в плечах пиджачок и простенькие ботинки скороходовской работы. Он был прямодушен, принципиален и нелицеприятен, являя в моем представлении тип настоящего, бескомпромиссного большевика-ленинца.

В тот год я был прикреплен по общественной работе к Театру Мейерхольда, где довольно успешно проводился сбор средств на постройку самолета. Ежевечерне я приходил в этот интересный театр, где часто оказывался свидетелем жесточайших дискуссий, которые велись между поклонниками и противниками нового направления в театральном искусстве.

Я не мог сравнивать - в других театрах бывал редко - и поначалу безоговорочно принимал и пропагандировал мейерхольдовские спектакли. Я водил в театр красноармейцев аэродромной команды, пилотов и механиков с их семьями, курсантов авиационных школ и многочисленных приятелей и знакомых.

Как-то я пригласил в театр Никулина вместе с Межераупом, известным боевым летчиком, возглавлявшим наши воздушные силы в Туркестане. Внешне мои гости представляли полную противоположность друг другу - худенький, невидный Никулин и крупный, с широченной грудью, словно бы созданной для

украшения орденами, Межерауп. Орденов у него было действительно в достатке, и в том числе какие-то экзотические, с голубой эмалью - туркестанские.

Мы сидели в первом ряду. Шел "Лес" Островского. Аркашку уморительно играл молодой Игорь Ильинский. Искоса я наблюдал за реакцией своих соседей. Межерауп хохотал от души, его полные плечи волнообразно колыхались. Никулин, как обычно, сидел с невозмутимым видом.

Уже в раздевалке, по окончании спектакля, он как бы между прочим сказал:

- А знаешь, я считаю, что "Лес" в Малом театре - пьеса куда более революционная, чем на вот этой сцене. Ты бы побывал в Малом.

Межерауп в разговор вообще не вмешивался, и, как мне показалось, из дипломатических соображений. Думается, он был скорее изумлен, чем взволнован спектаклем.

О вкусах, конечно, не спорят, но много лет спустя я прочел, что нарком просвещения Луначарский высказал однажды мысль, близкую к никулинской. Но ведь Луначарский был глубоким знатоком театрального искусства, человеком немалой эрудиции и прекрасного образования. Никулин, помнится, завершил всего четыре класса городского училища.

...Церемониал прохождения через мандатную комиссию был несложен. Сначала я зачитывал анкетные данные, автобиографию кандидата и характеристику с места работы. Подавшего заявление просили поподробнее рассказать о себе. Затем проводились короткая беседа и обмен мнениями между членами комиссии.

В случае возникавших сомнений мы связывались с организацией, направившей абитуриента, звонили по телефону в завком, секретарю комсомольской ячейки, в заводоуправление и там уточняли необходимые сведения. В редчайших случаях посылали письменный запрос.

Состав поступающих был сравнительно ровным и отличался от того смешанного контингента, которым комплектовались авиашколы несколько лет назад. Теперь преобладал рабочий народ: ребята часто являлись на комиссию прямо из цехов, пропахшие потом и машинным маслом. Их скромная одежда, загрубевшие руки, простая, бесхитростная речь не оставляли сомнения, что в авиацию пошла рабочая косточка. Пошел комсомол двадцатых годов.

Среди них было много так называемой безотцовщины: отцы многих погибли в окопах империалистической, в боях гражданской войны. По комплекции народ был больше мелкий,

акселерации не наблюдалось. Годы экономической разрухи и хронического недоедания, видимо, сказывались на внешнем виде многих ребят. Да и со школьной подготовкой не всегда было гладко. Но было главное - жгучее желание: летать, летать во что бы то ни стало!

Так непосредственны и энергичны были их ответы, что редко приходилось сомневаться в искренности. Отличные это были ребята!

Аболин - большой добродушный латыш - сам спрашивал мало. Он только испытующе окидывал взглядом каждого входящего. Зато потом, когда мы коротко совещались, высказывал удивительно верное и точное мнение. Но иногда, словно задумавшись, неожиданно обращался к кому-нибудь из парней:

- А ты с лестницы в пролет смотреть не пробовал? Ну скажем, с шестого этажа? Голова не закружится?

Он и сам этого побаивался, в чем откровенно признавался. Но я встречал немало и других опытных пилотов, которые не очень любили такой эксперимент.

Больше всех задавал вопросы Махалов.

Махалова я знал еще по Аэрофотограммшколе, где он недолгое время комиссарил. У него был сплюснутый череп, тусклые карие глаза и круто вьющиеся, как на каракулевом воротнике, волосы. Он был изрядно глуховат. Как всякий плохо слышащий, говорил громко и трубно. Любил выступать перед большой аудиторией. Махалов был сыном московского драматурга Разумовского и по этой причине имел широкие театральные знакомства. Конечно, он тяготел к огням рампы неизмеримо больше, чем, скажем, к аэродромной обстановке. Он ежевечерне выступал в театре Мейерхольда с призывами жертвовать на постройку самолета, трафаретно завершая выступление фразой, которую многие из нас знали наизусть:

- И тогда красные советские летчики на красных советских самолетах пронесут по всему миру красные знамена революции!

Никулин, относившийся к Махалову несколько иронически, как-то заметил:

- Очень уж у тебя, браток, колер густоват. Не перепустил ли?

В жизни Махалов был балагур, мистификатор и, пожалуй что, порядочный ёрник. Он часто появлялся в театре с полной румянощекой дамой, представляя ее как свою жену. Но при этом неизменно пояснял:

- У меня их две. С одной не живу, но у нее живу. А с другой, вот с этой, живу, но у нее не живу.

Дама устало улыбалась и со скучающей гримаской отмахивалась. Ей, видимо, приелись эти дубоватые остроты.

На мандатной комиссии Махалов выцеливал паренька попроще и мог ошарашить его таким примерно вопросом:

- А что, русский поп имеет право быть избранным в Совет?

- Не имеет! - четко рапортовал паренек.

- А татарский? Мулла, к примеру?

Бывали случаи, когда парень, не понимая подвоха, задумывался. Один даже, помню, от смятения, что-ли, ответил: "Имеет!"

Но такие выходки обычно сердили Никулина.

- Ты, Махалов, свои провокационные штучки брось! - обрезал он. - Давай спрашивай по существу!

Мне, самому молодому из членов комиссии и, в общем-то, находившемуся не так давно в положении этих ребят, конечно, было лестно присутствовать на таких ответственных заседаниях. Особенно приятно было, если в этот день я летал. Тогда можно было маленько даже разыграть из себя этакого аса.

И, прищурив глаз, я спрашивал:

- Мотор встанет в полете - не сдрейфишь?

Однажды я не рассчитал и попал, должно быть, на сильно зубастого. Паренек был щупленький, лохматый, смотрел чуть исподлобья. Подозреваю, что пиджачишко был на нем с чужого плеча.

Он молниеносно перенял мой тон, тоже сощурился и с некоторым даже вызовом отвечал:

- Кондор какой нашелся! А сам небось на аэродроме машинам хвосты заносишь!

Надо же, и обозвал-то как - кондор!

Но тут, как всегда, вмешался Никулин:

- Спокойней, спокойней! Ты лучше спроси, как у него с семьей получится? В анкете внимательно разобрался? Он ведь один у матери кормилец. Батька его за Советскую власть жизнь отдал. А на стипендию, сам должен понимать, широко не разъедешься. Вот об этом самом и спроси. А трусов, если хочешь знать, я с такими глазами еще не встречал.

Вообще Никулин умел как-то сразу расположить к себе, создать в комиссии добрую и деловую обстановку. У него, как и у Аболина, был замечательный нюх на людей. Кроме того, Никулин обладал обостренным чувством справедливости.

Работа комиссии обычно протекала спокойно, без эксцессов и претензий со стороны поступающих.

Протекционизм полностью отсутствовал. Больше всего ребят отбраковывала последняя, медицинская комиссия, но на ее работу наши полномочия не распространялись. Инциденты были редки, но тем дольше и прочнее они задерживались в памяти. Об

одном из таких я и хочу рассказать.

Этот парень был примечателен прежде всего очками в круглой железной оправе да, пожалуй, еще длинным черным пальто, напоминавшим католическую сутану. Вообще он отдаленно смахивал на молодого, но въедливого ксендза. Узколицый, с горбатым хрящеватым носом, тонкой ниточкой поджатых губ, он держался подчеркнуто скромно, но с достоинством. На вопросы отвечал обстоятельно, хотя и несколько витиевато. В разговор частенько вставлял иностранные слова. Перед ответом поднимал глаза и несколько раз чмокал губами, как после сытной закуски.

- Летать собрался? - неожиданно спросил на этот раз молчальник Аболин, особенно внимательно всматривавшийся в его лицо. - А сам очки напялил.

Парень издал чмокающий звук и, уставив глаза в высокий потолок, рассудительно ответил:

- Нет, зачем летать? Я предпочитаю на земле. По обслуживанию. В какую-нибудь спецшколу. Там неплохо можно устроиться. Мне бы это весьма импонировало.

- Ишь загнул! - подивился Никулин. - "Импонировало"! Ну, ладно, рассказывай, чем дышишь! Парень начал не торопясь, очень деловито. Приехал из украинского села, расположенного неподалеку от хутора Михайловского. Устроился в почтовом отделении на отправке посылок. Живет у замужней сестры. Отец с матерью занимаются сельским хозяйством. В коммуну? Нет, не вступали. (В те годы коллективизация не носила еще массового характера.) Живут ничего, подходяще. Отец даже собирается арендовать мельницу. Он по мукомольной части здорово понимает.

- Типичный середняк, - загудел Махалов. - Значит, живете не тужите?

- Мы бы, может, и лучше жили, - неожиданно разоткровенничался парень. Только кое-что из хозяйства бате нарушить пришлось... Благодаря непредвиденным обстоятельствам.

- Каким, каким? - забеспокоился вдруг Никулин.

Но парень словно поперхнулся и отвернул голову в сторону. Мы недоуменно переглянулись. Настала тишина.

И вдруг эту короткую паузу - раньше мы говорили: "пролетел тихий ангел", теперь равнозначно - "милиционер родился", - прорезал мелодичный вибрирующий звук. Никто из нас поначалу не поверил своим ушам. Это Никулин залился высоким, звонким, совершенно мальчишечьим смехом. Он слова не мог вымолвить от душившего его хохота, натужно покраснел и, словно дирижер

над пультом, стал энергично отмахиваться руками. Вынул носовой платок, пытаясь прикрыть им рот, но безуспешно. Спустя немного в помощь ему баском подключился Аболин и даже Махалов, по причине глухоты позже всех сообразивший, в чем дело, издал сквозь губы продолжительное сипенье.

- Значит, непредвиденные обстоятельства? - обратился наконец Никулин к парню, уже принявшему свой обычный, несколько чопорный вид. - Они батю и подвели? Вот это загнул! Ладно, уматывай отсюда, а то вовсе уморишь! Результаты сообщим. Списки вывесим...

А происходил, этот примечательный разговор на третьей неделе после всенародного празднования седьмой годовщины "непредвиденных обстоятельств", нарушивших благополучие крепкой кулацкой семьи где-то неподалеку от хутора Михайловского.

Замок павловской работы

Ночью хорошо вспоминается...

Каждый час я обхожу большой пустырь на Варшавском шоссе, кое-где огороженный остатками дощатого забора. На строительной площадке разбросаны полузасыпанные снегом бетонные блоки и несколько наспех сляпанных складских помещений.

Меня сопровождает собачья свора, честно выполняющая свои обязанности. Нет лучше с собаками дежурить, они и днем-то ворчат на посторонних, а ночью и вовсе близко никого не подпустят. Живут псы около сторожки, кормиться бегают неподалеку, в местную новую столовую, а службу несут на моем участке.

За сохранность имущества я особо не опасаюсь. Ну кто потащит бочку с известью или многопудовый скат проволочной сетки? Наверно, по этой причине и замки для складов выданы мне аховые. Они стандартные, плоские, хлипкие, открываются одним ключом, и назначение их скорее символическое, чем реальное.

На особом положении находится склад, где хранится ходовая мелочь: спецодежда, обувь, электроматериалы, краски. В отличие от других, окна у него забраны прочными решетками, двери обиты листами кровельного железа и заперты на замок, который наверняка сделал бы честь музейной экспозиции начала века.

Такие монументальные замки навешивали когда-то на клети и амбары мужички-толстосумы да бойкие деревенские лавочники. А изготовляли их умельцы из "русского Золингена" - села Павлова на Оке, еще от времен Петра Великого славного производством изделий из металла.

Замок любительский, сработан на совесть, должно быть по заказу, и украшен затейливым чеканным орнаментом. Весу в нем полкило, не меньше. Его массивный корпус выточен из двух наглухо склепанных полусфер, стальную толстую дужку не возьмет никакая ножовка, а фасонный ключ подобрать, наверное, трудно. Запирается замок с громким мелодичным звоном, свидетельствующим о качестве и силе его пружины. Услышав этот звук, мой ближайший подручный Мухтар всегда настороженно поднимает левое ухо и тревожно взбрехивает.

Я поинтересовался у начальства, откуда попал к нам этот замок, но толком так ничего и не выяснил.

И не стал бы, пожалуй, описывать его столь подробно, когда б не сверлила меня мысль: при каких обстоятельствах в жизни попадался мне такой вот самый замок или, во всяком случае, его двойник?

Но память долго не давала ответа, как я ни пытался напрягать ее...

И все же в одну из ночей, когда я проверял лучом электрического фонарика целость складских запоров, из клубочка воспоминаний вылезла тонюсенькая ниточка, за которую я немедленно ухватился... Постой, постой! Ведь такой самый замок висел на зеркальных двухстворчатых дверях в помещении на Тверской улице, неподалеку от нынешней редакции газеты "Труд". А через его дужку была захлестнута веревочка, концы которой проходили сквозь отверстия в фанерной дощечке и смыкались на обратной ее стороне под сгустком багровой сургучной нашлепки с жирным оттиском печати... Да, да, именно так!...

Стало быть, надо поднапрячь стариковские силенки и поспешить в караульное помещение, чтобы там закрепить на бумаге эпизод, с неожиданной яркостью возникший в памяти.

С бумагой в дежурке не густо, и я вынужден пойти на преступление и содрать со стены плакат, где изображен набор противопожарного инвентаря. А затем лихорадочно записать на его изнанке то, что так настойчиво просится на бумагу.

Значит, так!.. Осень двадцать третьего. На Тверском бульваре первый листопад. В эстрадной "раковине" духовой оркестр играет вальс "Дунайские волны". Вокруг на скамейках и ныне исчезнувших тяжелых металлических стульях расположилась самая пестрая публика. Вокруг снуют мальчишки с цветными шариками, наполненными удушливым светильным газом. В тени аллей чинно прогуливаются девушки в пристойной длины юбках, белых нитяных чулках и простеньких парусиновых туфлях. Мелькают красные косынки работниц. Попадаются матросы в бескозырках и коротких черных бушлатах. Народ безбожно лущит

семечки, поплевывает шелухой. Над гуляющими плывут смешанные запахи вафельного теста, махорки и медового английского табака "Кепстен", недавно появившегося в продаже.

Дальше, в конце бульвара, против памятника Пушкину, кинотеатр "Великий немой". Там был еще чудак администратор, охотно выдававший нашим ребятам бесплатные контрамарки. А когда он звонил по телефону, то всегда начинал так: "Говорит великий немой!" - и кудахтающе смеялся.

Мы с Михаилом Беляковым не спеша расхаживаем по бульвару. Михаил очень красивый юноша, статный, широкогрудый, с живыми карими глазами и густыми соболиными бровями. При виде его встречные девушки так и тают. Мы только что кончили Аэрофотограммшколу. На наших конусообразных буденовках голубые звезды, на шевронах по три кубаря. Мы довольны, веселы и чуть по-озорному настроены.

...В эту минуту я слышу, как в стороне складов нарастает собачий лай, переходящий в яростную грызню. Вот еще не было печали! А идти надо. Я с неохотой отрываюсь от своего "папируса", беру из угла палку потолще и ковыляю в ночь. На дворе, как говорится, ни зги! По счастью, тревога оказывается ложной. Просто прибежала Капка, юркая сучка с соседней стройплощадки. Ее благосклонность оспаривают двое кавалеров из моей "бригады". Разберутся сами. Значит, можно возвращаться. Скорей, скорей! Сейчас главное - не прервать хода мыслей!

Но все равно теперь уже легче. Теперь я оттолкнулся!..

...Ну конечно, это был Арефьев! А встретились мы около этого самого "Великого немого". Потом зашли в ресторанчик на Тверской. Как же мы с Мишкой тогда наелись! А вина какие пили! Нам говорили - марочные. Шато-лафит. Шато-марго! Водкой тогда еще не торговали, а то совсем хороши бы мы были! И этот лукавый татарин. "Сколько с нас?" - "Ничего!.." Да-а! Главное в жизни не промахнуться! - так, кажется, Арефьев говорил?.. Когда Беляков нервничал, он учащал речь и начинал быстро моргать. И лицо у него становилось какое-то брезгливое. И я, чуть что, краснел как дурак. Молоды были - зелены. Значит, татарин!.. Вот, кажется, я и добираюсь до главного. Нет, это все-таки мудрая поговорка - "В огороде бузина, а в Киеве дядька". Еще и не такое может в жизни случиться... И я записываю, записываю...

Итак, поначалу комиссаром, а впоследствии бессменным начальником Аэрофотограммшколы, где мы оба учились, был Антон Фомич Кринчик, склонный к полноте, большой крутолобый мужчина, с дружелюбным взглядом голубых, чуть навыкате, глаз, неизменно ровный, веселый и общительный. Мы все очень уважали и любили Кринчика.

Комиссары, приходившие к нам после Кринчика, почему-то часто менялись. Мы просто не успевали приглядеться к одному, как его отзывали, и на смену появлялся другой. В общем-то, это были не те комиссары, которых я потом встречал в авиачастях - людей трудной судьбы и большого сердца. Вот только один оставил след в моей памяти: Володя Степанов, бывший наборщик сытинской типографии, - узколицый моложавый человек с плохо подлеченным туберкулезом. Это был настоящий друг курсантов, к которому влеклись наши сердца, хоть он и на фронте никогда не был, и подвигов не совершал, и к авиации отношения не имел.

Но речь сейчас совсем о другой фигуре - своеобразной, противоречивой и по-своему колоритной - Арефьеве.

Внешний вид этого человека даже на улице останавливал внимание. Он был строен, высокого роста, с большими дерзкими глазами, заботливо уложенной пышной прической и очень красивыми руками с длинными, как у пианиста, пальцами. Он был прекрасным оратором: выступал всегда темпераментно и толково, то снижая голос почти до шепота, то повышая его едва не до крика. Ничего не скажешь, он умел себя подать.

Арефьев прибыл в нашу школу откуда-то с юга вместе со своим секретарем неким Роженицким, апатичным на вид долговязым юношей, всегда носившим большой маузер в деревянной кобуре.

Они были связаны, наверное, большой дружбой или какими-то иными обстоятельствами. Мы не раз подмечали, что на людях Арефьев не прочь был учинить жесточайший разнос Роженицкому, не стесняясь самых крепких выражений. Однако окончание конфликта частенько оказывалось в пользу секретаря. Кое-кто из находчивых ребят учел это обстоятельство и пытался втереться в доверие Роженицкому, оказавшемуся на поверку весьма продувным и оборотистым парнем.

Арефьев, без сомнения, был человек умный, осторожный, ловкий, обладающий завидной выдержкой и умевший с ученым видом знатока хранить молчание, когда дело начинало касаться специфических авиационных вопросов. Он, по моим наблюдениям, и не тяготел к авиационному делу. От посещений аэродрома уклонялся, а полетов избегал, являя этим противоположность политработникам других авиачастей. А уж это был закон: те летали не реже, чем заправские пилоты и наблюдатели.

При всем при том Арефьеву нельзя было отказать в энергии. Чего-чего, а уж активности ему было не занимать.

Он быстро добился от нашего шефа - Наркомата путей сообщения существенных денежных дотаций. Нам пошили

отличные комсоставские сапоги, улучшили питание, подогнали форму у квалифицированных портных. Сам Арефьев продолжал ходить в штатском - элегантном синем костюме, высоких шнурованных ботинках и черной фуражке с лаковым козырьком.

Проработал Арефьев у нас очень недолго и в один прекрасный день исчез из школы вместе с Роженицким так же неожиданно и стремительно, как и появился.

Спустя год у нас состоялся очередной выпуск. В числе окончивших оказались и мы с Михаилом Беляковым. Мы были связаны крепкой дружбой и полны оптимистических надежд. Михаил получил направление в отдел военной метеорологии ВВС и посвятил этой важной проблеме всю свою дальнейшую жизнь, добившись немалых успехов и закончив впоследствии службу в звании генерал-майора. Я с нетерпением ожидал конца положенного отпуска, чтобы оказаться на одном из аэродромов, о котором слышал так много интересного и где мне предстояло встретить много замечательных людей.

Итак, мы не спеша продвигались по Тверскому бульвару, свежеиспеченные красные военные специалисты, одетые в новую, с иголочки, форму, скрипя и благоухая кожаной "сбруей", в хромовых комсоставских сапогах, надраенных до солнечного блеска.

Заинтересованные яркой рекламой, вещавшей о подвигах королей экрана великолепного Дугласа Фербенкса и белокурой красотки Мэри Пикфорд, мы пересекли узкую трамвайную линию против памятника Пушкину и подошли вплотную ко входу в небезызвестный кинотеатр "Великий немой".

И тут нас окликнул странно знакомый голос...

Перед нами стоял Арефьев. Он показался значительно раздобревшим за то время, которое мы с ним не видались. Одет он был со всегда отличавшим его франтоватым изяществом в коверкотовый костюм мягкого песочного цвета. От него исходил легкий запах дорогого одеколона.

Он увлек нас налево по шумной Тверской и по дороге забросал тысячью вопросов. Память у него оказалась фотографическая, он выдавал ребятам и прежним своим сослуживцам самые точные характеристики, восстанавливал мельчайшие подробности курсантского быта, обнаруживая высокую наблюдательность.

- Мальчишки! - тоном, не допускающим возражения, вдруг предложил он. Айда в какую-нибудь ресторацию! Имею жгучее желание отдаться воспоминаниям за бутылкой шипучего... Как у вас со временем?

Со временем у нас было просторно. А вот насчет денег... Мы

несколько замялись. Дело в том, что выпускных мы еще не получили, а последней стипендии здорово протерли глазки еще неделю назад.

Арефьев, видимо, быстро понял наше смущение и, бросив фразу, вроде "Ну нет, это, разумеется, не причина!", едва не силой втолкнул нас в двери ближайшего из многочисленных ресторанчиков, чуть не впритирку соседствовавших друг с другом.

Эта новоявленная харчевня была претенциозно украшена позолотой, фальшивым мрамором, картинами в багетных рамах и даже экзотическими растениями. На небольшой эстраде пиликал танго струнный ансамбль и завывала какая-то пожилая, зловеще декольтированная солистка. Нам все это показалось в диковинку, мы еще ни разу в жизни не посещали подобные заведения.

Арефьев уверенно повел нас по прокуренному залу в уголок, где несколько на отшибе стоял не накрытый еще столик, поманил пальцем официанта и заказал ему обильную, изысканную, как мы посчитали, еду и несколько бутылок вина.

Под влиянием выпитого он вскоре сделался откровенным.

- Я, мальчишки, кое-чего достиг, - вызывающе поблескивая глазами, рассказывал он. - Фирма солидная, есть где развернуться. Работаем, как всегда, четко. В своих кругах я теперь человек известный. Персона грата! подтвердил он с некоторым даже самодовольством. - Впрочем, скоро убедитесь сами. Поинтригую вас покуда... Ну и Роженицкий, разумеется, со мной. Помните такого? Мы ведь со школьной скамьи друзья. Этот парень - пальца в рот не клади, даром, что с виду сонная муха. Главное, как он говорит, в жизни - не промахнуться! Правда, здорово сказано?

Арефьев и раньше представлялся нам широкой натурой, но на этот раз, кажется, превзошел себя. Стол буквально ломился от разных яств, а он продолжал заказывать все новые блюда. Мы до отказа набивали наши курсантские желудки, насыщались, блаженствовали и, уже несколько осовев, продолжали сквозь хмель слушать поучительные сентенции своего здорово развязавшего язык нечаянного благодетеля.

- Ребята! - перекрывая ресторанный гул, то и дело обращался он к нам. Джейранчики мои мокрогубые! Мало я о вас, чертенятах, заботился! Вот и теперь хочу сказать!.. Главное - не промахнуться! Ах обида, нет Роженицкого!

Он внезапно смолк, будто что вспомнив...

Когда приспела пора рассчитываться, Арефьев почему-то не пожелал иметь дела с официантом и потребовал самого хозяина ресторана. Как лист перед травой, перед нами возник вальяжный

приземистый татарин в ослепительно белой накрахмаленной курточке, накинутой поверх дорогого импортного пиджака.

- Привет! - небрежным тоном бросил наш чичероне. - Будем знакомы! Я Арефьев!.. Сколько с нас?

Хозяин даже не счел нужным окинуть заплывшими глазками стол с остатками этого поистине лукуллова пиршества. Он только подобострастно склонил жирную бритую голову. Лицо его выражало крайнюю степень восхищения. Сладчайшая улыбка одухотворяла его.

- Ничего! - односложно ответил он, - Совершенно ничего!

- Ну нет, как это ничего? - строго поглядев на него, переспросил Арефьев и вытащил из кармана какую-то пустяковую купюру. Такую, пожалуй, осилили бы и мы с Михаилом из нашей тощей курсантской мошны. - Вот, получите! Ну пошли, мальчики!

И мы тронулись через зал в сопровождении хозяина, беспрерывно забегавшего перед нами то с одной, то с другой стороны.

Даже распахнув широкие стеклянные двери, он еще долго смотрел нам вслед.

На одном из перекрестков, у Никитских ворот, мы дружески распрощались с Арефьевым и, только оставшись вдвоем, вспомнили, что он, собственно, так ничего и не рассказал о своей работе. На какую волшебную должность поменял он нашу скромную Фотограммку? И хотя я был теперь окончательно убежден, что он рассматривал свое прежнее амплуа как некий трамплин для свершения в дальнейшем иных, более блистательных дел, недоумение не оставляло меня.

Да и Михаил находился в таком же состоянии.

А ларчик, как это часто бывает, открывался предельно просто, о чем и поведал нам на другой день, тщетно пытаясь подавить улыбку на своей располагающей физиономии, начальник школы. Как оказалось, Арефьев со своим верным Роженицким работали инспекторами в мощном налоговом аппарате Мосфинотдела и были вольны в животе и смерти разнокалиберных нэпачей, плодившихся в столице по принципу клеточного деления.

А к вечеру того же дня ко мне на Пресню неожиданно заявился Беляков.

- Слушай! - скороговоркой начал он, нахмурив свои роскошные брови. Никак не могу прийти в себя после вчерашнего сабантуя. А если на улице столкнемся мы с тобой с этим самым татарином? Что, думаешь, опять он будет улыбаться? Скажет он нам пару ласковых, и хоть сквозь землю проваливайся! И главное, прав ведь будет! И вообще давай с этой историей скорее

разделываться!

Я хорошо знал высокую щепетильность, отличавшую скромную учительскую семью, где выросли и воспитались эти замечательные ребята - братья Беляковы. И спорить здесь было не о чем.

Вскоре школьный начхоз хитроглазый Зимин привез из банка положенное нам денежное довольствие и "под занавеску" сполна рассчитался с нами. Нам выдали и отпускные, и еще какие-то добавочные. И все новенькими белыми хрустящими червонцами. Может, кто еще помнит, - какие красивые это были купюры - первые советские червонцы!

Еще через день мы решили привести наш план в исполнение и отправились на Тверскую.

- Извиняться будем? - спросил я Михаила по дороге.

- Да ты что?! - вскипел он. - Перед этим-то разъевшимся живоглотом? И не подумаем! Рубанем: так, мол, и так! Налицо недоразумение. Недосмотр! Тем более выпивши были. Подсчитай и, что следует, дополучи. Не волнуйся, он хотя и большими тысячами ворочает, а все до копеечки помнит.

- Да и я так думаю.

И вот мы приближаемся к месту, где нам предстояло это несколько необычное объяснение, и еще издали примечаем зеркальные отсвечивающие двери, откуда с такой угодливостью провожал нас хозяин ресторана. Конечно, он ничего не забыл. Мы подходим ближе, ближе...

Ресторан опечатан. На его дверях висит тот самый замок павловской работы.

- Ну, знаешь, передачу ему я все-таки не понесу, - после паузы, вызванной некоторым обалдением, растерянно говорит Михаил.

- И я, пожалуй, тоже не понесу, - соглашаюсь я. - А ведь "фирма" сработала, четко. Ничего не скажешь! Одно слово - нэп!..

...Когда я наконец выхожу из караульного помещения, на дворе уже светает и по другую сторону Варшавки в мглистой морозной дымке возникают белокаменные чертоги жилых зданий. Чертоги Чертанова. И я там живу.

Только теперь чувствую, как мне жарко: я ведь в творческой запарке даже полушубок забыл скинуть, а температура в нашем помещении конголезская - две мощные электропечки в таком крохотном закутке. Электрики сторожей никогда не обижают.

Но мне теперь все равно. Теперь отлегло от сердца. Скинул я наконец с него этот увесистый замок.

За бокалом ацидофилина

В последние годы мне всегда хотелось написать что-нибудь

волнующее со слов бывалых людей, участников авиационных событий, так стремительно уходящих в историю. Какой-нибудь яркий рассказ, освеженный памятью очевидцев.

Я пригласил домой двух авиационных ветеранов под предлогом отметить праздник авиации. Всегда найдется, о чем потолковать в этот знаменательный день, думалось мне. Главное, не отвлекаться на посторонние темы, направляя разговор в нужное русло, а затем исподволь выудить из словесного потока отважный поступок, необычайную ситуацию, эпизод высокого мужества, все, чем, бесспорно, была насыщена деятельность этих много повидавших и испытавших людей. Общеизвестно, жизнь нередко оказывается интереснее и увлекательнее самой богатой авторской фантазии.

...Итак, сегодня у нас именитые гости. Что за беда, если доказательства их былой популярности - лишь пожелтевшие вырезки из очень старых газет да орденские планки на скромных стариковских пиджачках.

Вот он, Фарих, небрежно расположившийся на широком диване. Разве этот человек не стоял у истоков становления полярной авиации? Фабий Фарих верный спутник легендарного Маврикия Слепнева и сам живая легенда, рыскавший над безбрежными, туго спрессованными снегами мыса Северного в поисках пропавших добытчиков пушнины - американских пилотов, а затем эскортировавший трагический груз через безлюдье Чукотки и дальше, в Соединенные Штаты Америки. Слепнев, Фарих - вторые после Шестакова советские летчики, побывавшие на американской земле. А год это был тысяча девятьсот двадцать девятый... Давненько!

Меня всегда брала досада, что книжка Фариха "Над снегами", до предела насыщенная истинной полярной романтикой, давно исчезла и является библиографической редкостью. Как оказалась бы она поучительна и полезна для сегодняшнего молодого читателя.

Фабия я помню еще с гимназических лет. "От юности своея" он сохранил мощный квакающий голос и манеру обидчиво оттопыривать нижнюю губу, под которой ныне угнездился седенький клинышек бородки. С годами Фарих обзавелся внушительным шарообразным животом, на котором любит, посиживая в кресле, скрещивать пальцы, напоминая в эти минуты католического монаха со старинных гравюр в новеллах Декамерона. Я давно собирался подарить ему четки, но так и не нашел этой счетной машинки ни в одной из московских комиссионок.

Против Фариха на краешке гнутого венского стула

примостился старинный приятель его Николай Львович Кекушев, с лицом, напоминающим индейскую ритуальную маску, полуопущенными глазами и скорбно сникшими уголками рта, вроде бы бесстрастный и равнодушный ко всему окружающему. Но не следует доверяться первому впечатлению. Стоит Львовичу чем-то заинтересоваться, и веки его не спеша поднимаются, а в глубине сонных зрачков начинают мельтешить юркие озорные чертики.

Кекушев - авторитетнейший бортинженер, бортмеханик высокого класса, деливший риск и заботы своей многотрудной профессии с известными полярными асами: Водопьяновым, Слепневым, Мазуруком, Головиным. Архивы отечественной авиации свидетельствуют, что экипаж Головин - Кекушев первым в нашей стране совершил облет Северного полюса.

Итак, три старика восседают за круглым столом в квартире девятиэтажной новостройки Чертанова. В раскрытые окна вливается скрежет и подвывание МАЗов, ЯЗов и иже с ними. С голубого августовского неба слышен гул "илов" и Ту. Отсюда не так уж далеко и до Внукова. Но механические шумы не беспокоят, мы привычны к ним с молодых годов. А рокот самолетов несколько даже и в тон, он напоминает о значимости нынешнего дня.

Супруга моя, видимо, оценила некоторую специфичность приема дорогих гостей. Яства в застолье преимущественно молочнокислые: кефир, ряженка, ацидофилин, простокваша.

В глубокой тарелке млеют бледные ломти диетической докторской колбасы. Никаких селедок и острых приправ! Из напитков представлены "Московская минеральная" и еще расположившаяся несколько в сторонке в массивном графине чешского хрусталя золотистая лечебная настойка на калгановом корне.

На графинчик мы поглядываем хотя с некоторой алчностью, но взоров долго не задерживаем. Из предварительного обмена информацией установлено, что у нас на троих две заслуженные язвы желудка и один вполне кондиционный гастрит.

- Было время! - шумно вздыхает Фарих. - На спирту летали!

- Было, - меланхолически соглашается Николай Львович. - Ты еще, помню, вечно с актами вокруг начальства ошивался. Перерасход по горючему списать... Как же, не забыл.

- И никто тебя не обнюхивал, - словно не замечая реплики, продолжает брюзжать Фабий. - Это уж потом манеру взяли. Чего с водителями нынче только не делают?! Совестно сказать, с женским полом и с тем стесняться перестали. Другой инспектор будто целоваться лезет. Бывает, и при живом муже. Словом, ГАИ!

Разговоры с шутливой дружеской подначкой текут, не умолкая. Прав поэт, "болтливость старости сестра". Поворошить прошлое, порыться в воспоминаниях кому из нас не охота? Тем более с такими экзотическими биографиями, как у моих собеседников.

- Рассказал бы, Фабий, чего позанятнее, - прошу я.

- Не признаю нынешних репортажей, - в своей обычной, несколько скептической манере начинает он и тычет пальцем в свежий номер "Известий". Вот пожалте - опять про парашютистов. Дескать, рванул в манящую бездну с чувством восторга. Ведь все чушь это! Трепется беззастенчиво товарищ журналист. Тем более не сам прыгает. Когда над люком стоишь - поджилки трясутся. Особенно попервоначалу.

- А ты стоял? - неторопливо, уставив на друга круглые глаза, спрашивает Кекушев.

- Я не над люком. Я, брат, хуже, на плоскости стоял. На крыле. Оттуда и сигал. Какой тебе люк? Тогда их и в помине не было!

- Ну ты поподробнее, - прошу я.

Но Фарих аккуратно складывает газету в одну восьмую листа, наклоняется и, кряхтя, подсовывает ее под ножку стола.

- Не терплю, когда стол ходуном ходит! Этак и кефир недолго расплескать, - ворчливо замечает он. - Так вот, я тогда еще в Аэрофлоте работал. И помню, поступает распоряжение всему летному составу совершить по прыжку с парашютом. В добровольно-принудительном. порядке. Ну сам понимаешь, вроде прививки против малярии. Бумаженцию соответственную прислали, и каждому под расписку. Куда денешься? Я хоть и пятую тысячу уже разменял, по тем временам для воздуха цифра солидная, а все едино: ежели груздь, то полезай в "кузов. Прибыл ранним утречком. На Быковском аэродроме дело происходило. В барак зашел, смотрю, весь народ уже в сборе, припоздал я маленько, и по этой причине инструктор на меня зверем смотрит. Забыл вот его фамилию... небольшого росточка, коренастый, и еще глаза у него - это я уж точно запомнил, как у грифа, когда тот добычу терзает, - красные такие, с прожилками. Ну, думаю, вот она и моральная поддержка обеспечена! А тут и к машине. Втроем полетели: впереди пилот, потом этот красноглазый и сзади всех аз грешный. У-2 поначалу для этого дела приспособили. Между прочим, универсальная машина: чего только на ней не выкамаривали! Набрали восемьсот, вылез я, за стойку ухватился и словно прилип к фюзеляжу. Ну, никак не отдерусь! Будто эпоксидной смолой задницу приклеило. Рявкнул тут на меня инструктор: смотри - орет - тра-та-та! Аэродром

промажешь! Ну, я отпустил левую руку и вниз рыбкой. Зажмурился, просчитал до трех, за кольцо дернул. И за морду сразу схватился. В горячке этой пряжкой от лямки веко царапнул. А парашют, ничего не скажешь, точно сработал. Тогда на котельниковских больше прыгали - хорошие были парашюты. Завис на стропах, вокруг поглядываю, окрестности обозреваю - все в полном порядке, или, как нынче принято выражаться, нормально! А потом сразу правый глаз стало застилать. "С чего, думаю, - вспотел, что ли?" Разобрался внимательнее, а это кровь. Вот еще Художественный театр!

Рассказчик, не угадав, обмакивает бородку в стакан с ацидофилином и, привычно стряхивая с нее капельки, продолжает:

- Да-а! Однако приземлился как следует. Хотя и на самом краю аэродрома. А ко мне уже на "пикапе" чешут. Первым этот красноглазый. Бежит, руки раскинул, обнимает:

- Ну, Фабий, со святым крещением! Сподобился-таки! Давай скорее на машину, и в барак. Другие очереди ждут.

А потом присмотрелся ко мне да как ахнет:

- Ты что, кабана резал, что ли? Кровищи-то! Куда тебя такого в барак? Подавайся отсюдова!

- А чего? - спрашиваю.

- А того, - отвечает, - что с такой фотогеничной личностью только за парашютизм и агитировать. Из тебя, как бы поаккуратней выразиться, получается наглядный экспонат... А у меня и так некомплект. Двое не явились. Один, между прочим, заслуженный. Привези я тебя сейчас в таком виде последний народ разбежится.

Ну, разжился я у них водицей, в бачке маленько оказалось. Умылся кое-как. Закурил. Платком носовым ссадину прижал покрепче. Все едино с собой не берут ни в какую. Парашют забрали, комбинезон, а сам, говорят, топай на полусогнутых. А к бараку и близко не думай подходить!

Так я и поковылял мимо ихнего дома с песнями. И с тех пор больше не прыгал. Хорошенького понемножку. Да по совести сказать, особо и не жалею. Значок, однако, заработал. Такие синенькие значки, маленькие, тогда давали после первого прыжка.

- Один значок-то? - уставив на рассказчика равнодушный взгляд, спрашивает Кекушев.

- Один... А сколько же?

- Зря! Я бы на твоем месте обязательно два потребовал. Так бы и объяснил - это, мол, мой первый и последний прыжок! Получается два.

Приспособив к случаю этот когда-то широко распространенный анекдот, Львович с самым серьезным видом тянется к докторской колбасе.

Что ни говори, случай, бесспорно, забавный. Но сегодня я предпочел бы другой, более значимый эпизод... Может быть, для начала найдется что-нибудь у Кекушева? По-моему, сейчас он несколько оживился и готов перехватить эстафету... Так и есть!

В противовес Фариху, Николай Львович начинает тихо, слегка выпячивая губы, я бы сказал, несколько воркующе. Речь его напоминает сейчас журчание уютного лесного ручейка.

- Мы тогда в Тикси задержались, - не спеша разворачивает он свое повествование. - Вроде зимовки получилось, только хуже, потому что неожиданно. После небольшой аварии. Ну какая там обстановка? Два домика, одна машина, и на той не разлетаешься - лыжа поломана. Тоска, но только не зеленая, а другого цвета. Белая. Да вы уж про Арктику не один раз, наверно, читали. Хотя бы вот у этого классика (выразительный жест в сторону козлиной бородки). Очень реалистическое произведение! С Головиным я тогда летал, с Пашей. А чаще даже и не летал, а вот так, в помещении отсиживался. Погоду все думали обмануть, а она, видимо, нас. Муторно этак-то без дела сидеть, одно радио маленько и отвлекает. Радистам, думается, вообще легче - у них всегда свежая информация: кто еще прилетает, кого начальство вызвало, кто с белым медведем стакнулся. Из каких консервов нынче на соседней метеостанции суп варят. Может, отморозил кто чего. У кого на Большой земле супруга родила.

На сей раз, по какому уж случаю, сейчас точно не вспомню, но кто-то из ребят про часы разговор завел. Тогда наш Сердобский завод часы с кукушкой выпускал. Они, между прочим, и сейчас у Фариха дома сохранились. Любит он всякий мусор собирать, барахольщик известный. Каждый час выскакивала эта кукушка из корпуса и откуковывала, который час. Весьма занятно. Особенно для неприхотливого интеллектуала.

А я возьми да и сболтни кому-то из ребят - нас ведь двенадцать гавриков на этой зимовке загорало, - мол, точно известно, что завод переходит на новую технологию и вместо кукушки будет теперь из ящичка появляться Отто Юльевич Шмидт, собственной персоной, а метроном при этом будет выбивать склянки, как на всамделишном судне. И как-то это так удачно к слову легло, что все и поверили. Даже обсуждать взялись, как он одет будет. Кто говорит не иначе, как в форменном кителе, кто - в малице, кто - в простом пиджаке. А некоторые сказали, что один, мол, шут, у него бородища пошире лопаты и любой костюм закроет.

Еще я добавил, что, мол, очень трудно будет такие часы выбить потому, что партия опытная, экспериментальная и все их, само собой, расхватают по начальству. Дожидайся, когда до тебя очередь дойдет! Так что если уж добиваться, то лучше всего коллективно и поскорее, по особому списку через управление.

Радиста нашего, кажется, больше других заело, и он такую заявку немедленно отстукал. В самую Москву. Список составляли - от желающих отбоя не было. А когда в эфир пошло и окрестные зимовщики об этом узнали, то стали и от себя в этот список народ добавлять. Солидный получился список. Какому же полярнику не лестно такие интересные часы заиметь?

- Ну и чем кончилось? - оживляется вдруг Фарих. - Ты мне про этот случай не рассказывал!

- Чем, чем? - Николай Львович снижает голос почти до шепота. - Когда в Москву прилетел, вызывают в управление. Ведь вспомнили-таки! Сам замполит за меня взялся. Уж он мне мылил холку, мылил! И трюкачество-то это! И легкомысленное отношение к работе пришить собирался. Подрыв авторитета вдруг выкопал. Помню только, когда он меня драил, я все на портрет Шверника глядел. Аккурат над его головой был этот портрет повешен. А потом, когда всю положенную обойму израсходовал, смотрю, улыбается. Как потом оказалось, эта история до самого Шмидта доехала, и он тоже очень смеялся...

Нет, ровно ничего сегодня с героикой не получается! Должно быть, настрой не тот. Мои ветераны на поверку оказываются первостатейными хохмачами. А может, и калган чуток подпортил дело. Вон, несмотря на страшные заклятья, Львович не выдерживает гипнотического присутствия толстостенного графина, хлопает уже третий наперсток бодрящего зелья и с места в карьер начинает вспоминать, как сумел "заколотить баки" одному из столичных корреспондентов, добравшемуся до далекой Андермы в фантастической полярной экипировке, которая и не снилась коренным зимовщикам. В том числе в новехоньких, с иголочки, унтах, обшитых глянцевой шевровой кожей. Бережно накапав на свои старенькие сапоги немного сгущенного молока, неунывающий мистификатор стал тщательно втирать жидкость кусочком замши, конфиденциально сообщив заинтригованному представителю прессы, что это надежнейший способ сохранения обуви в арктических условиях и только ограниченный запас дефицитной смазки не позволяет ему продемонстрировать операцию до конечного результата.

Как известно, для столичных корреспондентов не существует ничего невозможного. И на другой день, обольстив гранитного завхоза, приезжий вылил на свои роскошные унты полную банку

крутой сгущенки, превратив их в нечто непотребное и став заодно объектом неослабного внимания со стороны местного собачьего контингента.

А Фарих уже перебивает друга и в лицах начинает изображать, как он сам-шестой вывозил в жестокую пургу на двухместном разведчике Р-5 группу специалистов, торопившихся к месту аварии в отдаленном свинцовом руднике на Вайгаче. Как разместились они в машине, словно в детской сказочке: "дедка за репку, бабка за дедку..." и как, не выдержав чумовой болтанки, один из членов комиссии, маститый представительный старец, посчитав, очевидно, что близится его последний час, во весь голос запел какой-то священный псалом, а другой пассажир, помоложе, устроившись позади Фариха, в ответственнейший момент почти слепой посадки стал лапать его, словно одалиску, и напоследок оторвал пилоту две пуговицы на новом комбинезоне.

Так, вплоть до расставания, беседа течет в этом несколько опереточном ключе. Последним, кажется, поступает сообщение Кекушева о том, как начальство, объявив на, одной из вынужденных зимовок суровый сухой закон, сбилось с ног, разыскивая исчезнувшую бутыль со спиртом, содержимым которой оказался заряжен скромно висевший на стене столовой... огнетушитель.

И когда неугомонные старики разъехались наконец по домам, несколько расчувствовавшись от калгана, а больше размякнув от перетряхнутых воспоминаний, я тщательно процедил свои впечатления.

Что же, у этих ветеранов не нашлось в жизни героических поступков, рискованных положений, случаев самопожертвования, взаимовыручки и многого другого, о чем можно было рассказать? Или события эти не так четко отложились в их памяти?..

Нет, и события запечатлелись, как надо, и героического у этих дедов в свои времена было, как говорится, навалом!

И я вспомнил двадцатипятитысячекилометровый воздушный рейс Фариха по Большому северному кругу, над торосами и разводьями угрюмых студеных морей. Это, между прочим, больше ста взлетов и посадок тяжелой машины на никем не обработанной арктической целине. Разве это не было сенсацией, выплеснувшейся далеко за пределы Страны Советов? Или перелет из Красноярска в Дудинку в неутепленной, открытой кабине субтильного У-2 при пятидесятиградусном морозе со знойким полярным ветерком?

Да и тот самый перелет на Вайгач, когда Фарих почувствовал себя в роли одалиски? Ведь это был рейс не только величайшего мужества, но и возможное перекрытие рекорда на

грузоподъемность машины этого класса, не зарегистрированное в ФАИ по той простой причине, что мы еще не входили в эту авторитетную организацию.

А тишайший Коля Кекушев? Этому трудяге знакомы не только полеты над торосами и застругами Севера, но и изнурительная работа в раскаленных песках Туркмении, где шла ожесточенная борьба с фанатичными басмачами и где вынужденная посадка могла оказаться пострашнее арктической. Как же должен был бортмеханик пестовать свой безотказный Ю-13, чтобы спокойно вверить ему жизни друзей по экипажу и свою собственную! Сколько раз оказывался этот невозмутимый человек на грани смертельной опасности!

И тогда я в который раз понял, что дорогие гости, милые мои старики, друзья юности, как и подавляющее число славных советских авиаторов, воспринимают личный героизм как нечто само собой разумеющееся, относясь к нему как к выполнению повседневных обязанностей. Это была благородная скромность, присущая отважным людям, сохранившим и на девятом десятке немеркнущие искорки азартного мальчишества, умение подмечать в жизни юмористическое и этим уберечь свою душевную молодость.